И. КОЗЛОВ

А. ПОДОЛИНСКИЙ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
малая серия № 22

И. КОЗЛОВ
А. ПОДОЛИНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Статьи,
редакция и примечания
Ц. Вольпе и Е. Купреяновой

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1936



И. КОЗЛОВ



1

Иван Иванович Козлов родился в Москве 11 апреля 1779 г. в родовитой дворянской семье. Отец его был генерал-рекетмейстером и статс-секретарем Екатерины II. [1]

По обычаю дворянских семейств, ребенка 5 октября 1784 г. записали сержантом в лейб-гвардии Измайловский полк.

«Воспитывался, — пишет его дочь, — дома, с братьями, у богатых родителей, с иностранными гувернерами, как это было тогда обычно в великосветских семьях».

Тогда же, очевидно, Козлов изучил в совершенстве французский и итальянский языки и классиков иностранной литературы, главным образом французской и итальянской.

Вслед затем он успешно делал сперва военную (1795—1798), а затем гражданскую служебную карьеру.

По рассказам его современников, в на-

---

[1] См. биографическую заметку об И. И. Козлове, написанную его дочерью Александрой Ивановной в статье К. Я. Грота «К биографии И. И. Козлова», Изв. II отд. Ак. наук, 1904, VI, кн. 2.

чале 800-х годов Козлов был светским молодым щеголем, лихим танцором и любимцем дам.

«Блестящий гвардейский офицер, позднее чиновник на хорошей дороге, он славился как франт и первый танцор в Москве», пишет о нем Жихарев.

20 апреля 1809 г. Козлов женился на дочери бригадира Софье Андреевне Давыдовой (ум. в 1864) и имел от нее двух детей — сына Ивана (1810—1883) и дочь Александру (1812—1890).

В 1816 г. Козлова постигает паралич ног. Из его «Дневников» [1] 1818 г. видно, что в это время он еще мог передвигаться и применял различные способы лечения. В 1819 г. он начал слепнуть. У него образовались катаракты на глазах. В то время русская медицина еще не умела бороться с этой болезнью, и к 1821 г. Козлов совершенно ослеп. 15 февраля 1823 г. он был вследствие болезни из департамента государственных имуществ, в котором он числился на службе, уволен в отставку в чине коллежского советника и с пенсией 836 рублей в год.

В биографической справке, написанной его дочерью, читаем:

«Лишился движения ног постепенным параличом. И зрение терял тоже посте-

---

[1] Опубликованы К. Я. Гротом в «Старине и Новизне», XI, СПб., 1906.

пенно (два года спустя). Жил 22 года в этом ужасном положении». [1]

Несчастье, естественно, изменило и образ жизни Козлова и круг его интересов.

«Теперь он известен будет и потомству,— пишет Нелединский-Мелецкий, — как хороший и чувствительный поэт, а пока видел и танцовал, современники о нем говорили, что весь ум его в ногах».[2]

В больном Козлове приняли участие Жуковский и племянница Жуковского Александра Андреевна Воейкова («Светлана»). Можно думать, что Жуковский ободрил Козлова в его первых литературных начинаниях и облегчил ему первые шаги в литературе.

В своей статье 1840 г. «О стихотворениях И. И. Козлова» Жуковский писал: [3]

«Несчастие сделало его поэтом — и годы страдания были самыми деятельными годами ума его. Знавши прежде совершенно французский и италианский языки, он уже на одре болезни, лишенный зрения, выучился по-английски и по-немецки— и всё, что прочитал он на сих языках, осталось врезанным в его памяти: он знал наизусть всего Байрона, все поэмы Валь-

---

[1] Изв. II отд. Ак. наук, 1904, VI, кн. 2, стр. 5.

[2] «Хроника недавней старины», СПб., 1876, стр. 262—263.

[3] Статья эта написана после смерти И. И. Козлова и напечатана как предуведомление к объявлению о подписке на собрание его стихотворений, издаваемое в пользу его детей.

тер-Скотта, лучшие места из Шекспира, так же, как прежде всего Расина, Тасса и главные места из Данта»... «жизнь его, физически разрушенная, при беспрестанном, часто мучительном чувстве болезни, была разделена между религией и поэзиею».

22 октября 1819 г. Ал. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Постараюсь прислать тебе перевод И. И. Козлова, бывшего танцмейстера, лишившегося ног, но приобревшего вкус к литературе и выучившегося в три месяца (sapienti sat) по-английски, Байрона «Bride of Abidos» на французском. Елизавета Алексеевна (императрица. *Ц. В.*) дала ему за сие перстень».[1] К этой рукописи, вероятно, относится запись в «Дневнике» Жуковского от 31 августа 1819 г.: «Манускрипт Козлова».[2]

Козлов начинает свою поэтическую деятельность, печатая отдельные лирические стихотворения в русских журналах («Пленный грек в темнице», «Венецианская ночь» и др.).

Славу ему принесла поэма «Чернец», изданная в 1825 г. Поэма имела исключительный успех. Еще прежде, чем она была напечатана, она в десятках рукописных списков разошлась по России. Еще не было до конца отпечатано первое издание, как стало ясно, что экземпляров нехватит,

---

[1] «Ост. Архив», I, стр. 335, 336.

[2] «Дневник В. А. Жуковского», СПб., 1903, стр. 69.

чтоб удовлетворить всех подписчиков. Через два месяца начали печатать второе издание. В 1827 г. вышло третье.

Белинский писал об успехе поэмы «Чернец» у современников:

«Она (поэма) взяла обильную и полную дань с прекрасных глаз; ее знали наизусть и мужчины. «Чернец» возбуждал в публике не меньший интерес, как и первые поэмы Пушкина, с той разницей, что его совершенно понимали: он был в уровень со всеми натурами, всеми чувствами и понятиями, был по плечу всякому образованию. Это второй пример в нашей литературе, после Бедной Лизы Карамзина. «Чернец» был для двадцатых годов настоящего столетия тем же самым, чем была Бедная Лиза для девятидесятых годов прошедшего и первых нынешнего века».

Десятки людей, прочтя «Чернеца», изъявляли Козлову благодарность за его поэму, писали ему письма. Вот, для примера, одно из таких писем — письмо М. Н. Загоскина, тогда автора комедий, впоследствии известного исторического писателя, к Козлову от 29 апреля 1825 г.:[1]

«Почтенный Иван Иванович! Я сейчас прочел вашу поэму «Чернец» и хотя не имею чести Вас знать, но решился писать к Вам и благодарить за неизъяснимое удовольствие, которое доставило мне сие

---

[1] «Русский Архив», 1886, I, стр. 190—191.

стихотворение, исполненное истинной поэзии и глубокого чувства. Вы сделали чудо: заставили плакать комического писателя».

П. А. Вяземский писал 22 апреля 1825 г. Ал. Ив. Тургеневу: [1]

«Я восхищаюсь «Чернецом»: в нем красоты глубокие, и скажу тебе на ухо — более размышления, чем в поэмах Пушкина. С удовольствием написал я о нем журнальную статью для «Телеграфа».

Статья эта содержала высокую оценку «Чернеца», конечно, без этого «сказанного на ухо» сопоставления с Пушкиным.

Об этой статье Пушкин писал П. А. Вяземскому 25 мая 1825 г.: «Читал твое о *Чернеце*, ты исполнил долг твоегосердца. Эта поэма конечно полна чувства и *умнее* Войн[аровского], но в Рылееве есть более замашки или размашки в слоге».

«Чернец» выдвинул Козлова в ряды первостепенных поэтов его времени. Литература сделалась для него едва ли не основным источником добывания средств к существованию. Козлов даже несколько наивно гордился тем, что он дорого продает свои стихи.

Так, когда к нему обращались за стихами для альманахов, он, по словам современника, очень серьезно отвечал, что «Пушкин и он продают свои стихи по 5 ру-

---

[1] «Ост. Архив», III, стр. 114.

блей за строчку» и что «менее этой цены он взять не может».

Вслед за «Чернецом» он выпустил ряд книг, одну за другою: «Невеста Абидосская» (1826), «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (1828), «Стихотворения» (1828), «Крымские Сонеты» (1829), «Безумная» (1830), «Стихотворения» — две части (1833), «Стихи наследнику цесаревичу на его присягу» (1834) и 2-е изд. «Ст-ний» (1834)

И все же оказалось, что литературный заработок недостаточен и не может обеспечить безбедного существования.

Нужда входит в дом Козлова. Жуковский усердно хлопочет и устраивает Козлову денежные пособия от членов царского семейства, но эти случайные подачки не могут существенно изменить положения вещей. Материальное неблагополучие делается все более ощутимым.

В своих воспоминаниях о Козлове[1] И. В. Селиванов рассказывает, что ему пришлось быть свидетелем истерического объяснения Козлова с дворником, которому Козлов не мог заплатить за потерянные ключи от дверей и который не позволял поэтому Козлову переехать на другую квартиру. Часто, рассказывает Селиванов, семья Козлова сидела без гроша, ибо накануне были истрачены все деньги,

---

[1] **И. В. Селиванов, Мое знакомство с Ив. Ив. Козловым, «Русский Архив», 1893, XII.**

для того, чтобы достойно угостить друга семьи и благодетеля Жуковского.

В 30-е годы заметно ухудшилось состояние здоровья Козлова. В 1837 г., в октябре, незадолго до своего возвращения в Россию, Жуковский писал Вяземскому:

«Навести Козлова, он в ужасном положении. Пальцы уже одеревенели, его язык начинает неметь. Слух давно ослабел. А душа как будто живет».

И действительно, несмотря на физические страдания, почти до самой смерти Козлов продолжал работать. Его помощником и секретарем в его литературных занятиях была его дочь Александра.

«Меня позвали, — рассказывает один его современник, — в кабинет. Это была довольно большая светлая комната, окнами на двор, а в ней на креслах, у письменного стола, сидел человек лет пятидесяти, с седыми волосами, бывшими когда-то, судя по остаткам, черными, с чрезвычайно красивыми и правильными чертами лица, в белом галстуке и очень изящном платье, несмотря на ранний час дня (это было около десяти утра)... В его манерах было много благородной простоты, составляющей отличительный признак человека, живущего в хорошем обществе; способ объяснения его был как нельзя больше приличен и вежлив, без изысканности и вкрадчивости... это был человек со всею деликатностью манер, со всею

утонченною простотою аристократии... Когда я ему объявил, что намерен издать альманах и стал просить его не отказать в стихотворении, чтоб украсить им мою книжку, Козлов закричал, чтоб ему позвали дочь его. В этом крике уже звучало нетерпение слепого, которое так часто в них встречается, если не тотчас исполняют их желание. Несколько минут, истекших прежде, нежели дочь пришла, изменили совершенно характер этой спокойной и приятной наружности: было что-то болезненно-злобное в звуках голоса, в чертах лица... И когда бедная девушка, лет восемнадцати или девятнадцати, вбежала, даже не успев поправить хорошо косу, я понял, что жизнь ее со слепым отцом должна быть ужасна... Торопливо, как загнанный школьник, подала она ему листовой бумажный конверт, в котором хранились его рукописи; по несчастью, это был не тот. — Не этот! закричал он болезненно-желчным, полным уже какого-то отчаяния голосом, и бедная девушка, испуганная, потерянная, бросилась к шкафу за другим конвертом, который и подала ему».

20 января 1840 г. он заболел воспалением мозга.

«До последней минуты, — рассказывает Жуковский, [1] — он сохранил свою

[1] «Современник», 1840, т. XVIII, стр. 83 и сл.

память; но связи уже не было в его мыслях. Перестав страдать, он чувствовал беспрестанно какое-то беспокойство, поминутно требовал к себе жену, дочь и сына: чего-то у них просил, успокаивался, получив от них ответ, и через минуту опять их кликал. Однажды, услышав мой голос, он подозвал меня, прочитал мне стих: *и мертвый страшен был лицом!* и прибавил: *вот что ты завтра здесь увидишь*. В последние два дня он не мог уже и говорить; наконец мало-по-малу овладел им сон смертный».

30 января 1840 г. Козлов умер.

2

Козлов вступил в литературу в начале 20-х годов XIX в. как один из поэтов школы Жуковского, когда в исторической обстановке обострения классовой борьбы кризис идеологии выразился также и в общем кризисе эстетического сознания. К этому времени руководящая роль в развитии русской литературы уже перешла к Пушкину. В своем творчестве Пушкин подвел итог всей предшествующей поэзии, вобрав в себя и всю поэтическую культуру классицизма XVIII и элегического романтизма начала XIX в.

И в то время как Жуковский, выступая родоначальником всей новой эпохи русской поэзии, в литературных взглядах своих еще стоит очень близко к позициям

того же XVIII в. и в своей поэзии исходит из жанровой эстетики, обновляя поэзию привнесением новых жанров (баллад и т. д.), Пушкин, выступая с романтическими жанрами, разрушает традиционное понимание искусства, разрушает эстетику классицизма, рассматривающего поэтическое творчество в свете иерархии жанров. Его поэма «Руслан и Людмила» не могла удовлетворить представлению о поэме ни классиков, ни карамзинистов, ибо она не отвечала жанровой эстетике ни тех ни других. В области лирики Пушкин постепенно переходит от традиционных лирических жанров (од, элегий, романсов, песен и т. д.) к новому смешанному типу лирических стихотворений. Взамен жанрового критерия в поэзии выдвинулись проблемы собственной темы и собственного материала, т. е. своего писательского лица. И отсюда в первую очередь проблема образа поэта, лирического субъекта творчества. Этот процесс разложения жанровой эстетики классицизма к двадцатым годам проходил в литературе очень широко, он далеко не исчерпывался пушкинским творчеством. Процесс этот иллюстрирует своим творчеством и Козлов. Являясь в литературе прямым последователем и продолжателем Жуковского, Козлов прежде всего отличается от него тем, что его лирика объединена не жанровыми признаками, а переходящими поэтическими мотивами (в то

время как у Жуковского лирическая тема все же подчинена жанровой задаче). Поэт подчеркнуто субъективистского типа, Козлов имеет и темой и материалом своей лирики себя и свою драматическую судьбу. Слепота, утрата зрения — вот переходящая тема стихотворений Козлова.

Оценка поэзии Козлова прежде всего была связана с тем обстоятельством, что стихи его написаны поэтом-слепцом. Когда Мицкевича спросили, как ему понравились переводы его «Крымских сонетов», сделанные Козловым, Мицкевич сказал, что переводы очень плохи. — «Почему же вы так их ему хвалили», спросили его. — «Потому что он слепой!» — ответил Мицкевич. Уже заранее читатель настраивался сочувственно к трогательной судьбе слепого поэта.

Жуковский выразил чувства этого читателя, когда писал о стихах Козлова: «Никто не мог читать их без нежного участия к поэту, который, открывая тайну своих страданий, в то же время и умилял нас, деля с нами те высокие утешения, кои почерпал во глубине поэтической души своей».

Сам Козлов в своих стихах непрерывно возвращается к теме собственной слепоты, рассказывает о собственной несчастной судьбе:

Но что ж!.. и божий свет скрываться
Вдруг начал от моих очей,
И я... я должен был расстаться
С последней радостью моей.

В своей статье о поэзии Козлова[1] Гоголь более всего поражается у него этим особым, своим, свойственным слепому, видением мира. Гоголь пишет:

«Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки: зрящему никогда бы не показались они в таком ярком и увеличенном блеске...

Он весь в себе. Весь нераздельный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него. Иногда стремление его центробежно и будто хочет разлиться во внешнем, но для того только, чтобы снова с большей силой устремиться к своему центру, к самому себе, как будто угадывая, что там только его жизнь, что там только найдет ответ себе. Если он долго останавливается на внешнем каком-нибудь предмете, он уже лишает его индивидуальности, он проявляет уже в нем самого себя, видит и развивает в нем мир собственной души.

Мне кажутся и доныне странными замечания и упреки многих Козлову, что в поэмах у него вечное тожество и однообразие жизни, что лица его не имеют полной романической отделки и не живут собственной жизнью, что «Безумная» нимало не похожа на русскую крестьянку, — словом, требуют от Козлова того, чего

[1] «Русская Старина», 1890, т. 65, стр. 85 —852.

только вправе мы требовать от Пушкина,— забывая, что для Козлова полная разнообразия внешняя жизнь не существует, что весь мир его сосредоточивается в нем самом и его одного силен он следить в многоразличных изменениях лица, и герои у него только образы, условные знаки, в которые облекает он явления души своей».

Получив в подарок от Козлова поэму «Чернец», Пушкин посвятил Козлову стихи, в которых также изображает тот же трогательный образ. Привожу эти стихи Пушкина:

Козлову

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им:
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитой юности кумир.

А я, коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды:
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

Это чувство сострадания к судьбе слепого поэта, вызываемое его биографией и находящее основание в его поэзии, в той психологичности лирики Козлова, о которой говорит в своей статье Гоголь, — это чувство порождалось тем образом поэта, который изображал сам Козлов в своих стихах. И дело здесь именно не в приносимом читателем чувстве сострадания, а в тех заложенных в поэзии Козлова мотивах, которые конструируют в самих стихах определенный лирический образ поэта.

На формирование характера этого лирического образа поэта в творчестве Козлова решающее влияние оказывает поэзия Байрона.

Именно в это время крупнейшие поэты и писатели Европы испытывали влияние байроновского творчества. Тогда же, вслед за европейскими литературами интерес к Байрону возникает и в России.

Первые печатные известия о Байроне появляются в русских журналах в 1818 г. Уже в 1819 г. весь круг друзей Жуковского с неистовым интересом читает Байрона. Новые произведения Байрона добываются непосредственно из Англии. Граф Блудов, близкий друг Жуковского, работающий в эти годы в русском посольстве в Лондоне, посылает своим друзьям новые книжки Байрона одну за другою. Имя Байрона все чаще мелькает в литературной переписке Жуковского и его друзей.

«Ты, — писал Ал. Тургенев Вяземскому 22 октября 1819 г. (из Петербурга в Варшаву), — проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали. Жуковский им бредит и им питается. В планах его есть много переводов из Байрона. Я нагреваюсь им и недавно купил полное издание в 7 томах».

В дневниках Козлова мы находим записи, показывающие, что он в это время также читает Байрона книжку за книжкой. Он читает и один и вместе с Жуковским, с которым в частности он вместе прочел и «Гяура» (см. запись в дневниках Козлова от 11 марта 1819 г.: «Читаю с Жуковским «Гяура»).

Лето и осень 1819 г. Козлов посвящает переводу «Абидосской невесты» Байрона. Видимо, первоначально он перевел ее на французский язык, а затем и на русский.

В недавно вышедшей в Кембридже книге Э. Симмонса «English literature and culture in Russia (1553—1840)» [1] (Английская литература и культура в России) о Козлове сказано, как о поэте, «who takes an important place among the early Russian Byronists» (который занимает важное место среди ранних русских байронистов).

Вскоре же, после появления первых русских байронистов, выяснилось не-

---

[1] Издание Харвардского университета, 1935, стр. 275.

сколько путей истолкования байронизма на русской почве. Оказалось, что историческое содержание байронизма в России совершенно отлично от социальной судьбы самого Байрона.

Связанный по рождению с английской родовитой аристократией и являясь одним из представителей аристократии деклассирующейся, находящейся в оппозиции к господствующим консервативным слоям английского поместного дворянства (к идеологии партии ториев, управлявших в то время страной), Байрон (1788—1824) в силу особенности своей социальной биографии вступил в борьбу с господствовавшими общественными силами Англии, вынужден был эмигрировать с родины и умер, защищая свободу греческого народа. Имя его в 20-е годы стало символом протестующей неудовлетворенности существующим порядком, символом революционного индивидуализма и романтической непримиримости с существующей социальной неправдой, стало знаменем всеевропейского либерализма. По своему политическому мировоззрению Байрон примыкал к партии вигов, т. е. он был одним из представителей левого крыла английского аристократического либерализма. Политическая программа вигов вскоре была осуществлена в пределах английской конституции, и только смерть помешала Байрону оказаться идеологом правительственных групп

в Англии. Элеонора Маркс приводит слова Маркса, сказанные о Байроне, которые совершенно точно характеризуют меру байроновского радикализма:

«Истинное различие, сказал Маркс, между Байроном и Шелли заключается вот в чем: те, кто их понимает и любит, считают счастьем. что Байрон умер на тридцать шестом году своей жизни, так как он превратился бы в реакционного буржуа, останься он жить дольше...»[1]

И однако, несмотря на объективную ограниченность байроновской революционности, в России декабристская литература восприняла его творчество прежде всего как пропаганду освободительных идей. Пушкин стал выразителем такого истолкования байронизма. Его южные байронические поэмы являются непосредственным рупором декабристской идеологии.

Идеология декабристской поэзии нашла свое выражение в созданном Пушкиным типе русской байронической поэмы. Так же как и у Байрона, в центре поэмы Пушкиным поставлен герой-индивидуалист, активный враг косной окружающей среды, поднимающий бунт во имя защиты свободы человеческой личности и ее прав.

Автор делает героя центром развивающихся событий, показывая их через него,

---

[1] «Маркс и Энгельс об искусстве», М., 1933, стр. 136—137.

давая лирическую оценку событий глазами своего героя, заставляя читателя чувствовать близость героя к автору, чувствовать, в герое, автобиографический смысл произведения. Говоря словами Маколея, «Лорд Байрон представлял в себе самом начало, середину и конец всей своей поэзии, был героем каждого рассказа, главным предметом каждого ландшафта».

Эта автобиографичность героя еще более подчеркивается лирической манерой повествования, выражающейся и в лирическом обобщающем введении в поэму и в системе так называемых лирических отступлений, в которых автор говорит или о своих чувствах к герою или о фактах своей биографии, сходных с событиями, в которых действует лирический герой.

Индивидуалистическому изображению героя служит и самый принцип композиции поэмы, который В. М. Жирмунский[1] удачно назвал **вершинным**. Судьба героя дается не в ее постепенном развитии, а в ее **акме** (греч. — вершина), автор сразу выхватывает прожектором «из тьмы» наиболее важный период в жизни героя и обрывает повествование, когда этот период заканчивается. Таким образом, и прошедшее и будущее героя при таком способе рассказа остаются в некоторой

---

[1] См. В. М. **Жирмунский**, Пушкин и Байрон, Л., 1924.

таинственной тени, что создает у читателя ощущение загадочной многозначительности судьбы героя.

Этой же задаче романтического изображения отвечает и обстановка действия. Автор переносит героя в необычайную среду и обстановку, развертывает экзотическую панораму, которая должна подчеркнуть не ординарный, не будничный характер происходящих с героем событий. Таким образом, можно сказать, что все основные принципы поэтики байронической поэмы: и автобиографичность героя, и лирические отступления, и вершинность композиции, и экзотика обстановки — все это средства для выражения мировоззрения бунтарского индивидуализма.

Элементы революционной неудовлетворенности существующим строем, превратившиеся у Байрона в своеобразное пессимистическое мировоззрение, в «демонизм» — философию «мировой скорби», и делали Байрона любимым поэтом радикальных кругов русского общества, либеральной и декабристской молодежи 20-х годов.

Параллельно с Пушкиным — одним из первых представителей байронизма в России был Жуковский. Но в то время как Пушкин «декабризировал» Байрона, Жуковский был зачинателем другой линии русского байронизма, он принял Байрона с весьма существенными коррективами и оговорками — так сказать «отсюда и досюда».

Жуковскому осталась совершенно чужда политическая сторона байронизма. В своем письме к И. Козлову от 27 января 1833 г. Жуковский писал о байронизме:

«Многие страницы Байрона вечны, но в нем есть что-то стесняющее душу, он не принадлежит к поэтам утешителям жизни. Что такое истинная поэзия? Откровение божественное произошло от бога к человеку и облагородило здешний свет, прибавив к нему вечность. Откровение поэзии происходит в самом человеке и облагораживает самую жизнь в здешних ее пределах. Поэзия Байрона не выдерживает этой критики».

Так же точно, как и Жуковский, воспринимал Байрона и Козлов. В его дневнике мы читаем под датою 31 декабря 1819 г.: [1]

«Много читал Байрона. Ничто не может сравниться с ним. Шедевр поэзии, мрачное величие, трагизм, энергия, сила бесподобная, энтузиазм, доходящий до бреда, грация, пылкость, чувствительность, увлекательная поэзия — я в восхищении от него... Но он уже чересчур мизантроп: я ему пожелал бы только более религиозных идей, как они необходимы для счастья. Но что за душа, какой поэт, какой восхитительный гений! Это просто волшебство!»

Таким образом, подобно Жуковскому, Козлов увлечен не политическим и обще-

[1] «Старина и Новизна», 1906, т. XI, стр. 40.

ственным содержанием байронизма, а его поэтической стороной. Жуковский говорил о том, что он хотел бы в Байроне «кое-что убавить». В статье «Слова поэта — дела поэта» Жуковский прямо противопоставляет разрушительному «сатанинскому отрицанию» Байрона «непорочную и религиозную душу» Карамзина. «Его гений, говорит Жуковский о Байроне, имеет прелести Мильтонова сатаны... она (эта прелесть) есть сила, стремительно влекущая нас в бездну сатанинского падения». Не следует, конечно, забывать, что этот отзыв написан в 40-е годы, но тенденции такой оценки байронизма наличествуют у Жуковского и в тот период, когда он переводил «Шильонского узника», при переводе которого он отбросил предпосланное Байроном посвящение к свободе и внес в монолог Бонивара религиозные настроения.

Выступив в эпоху заметно растущих в литературе декабристских настроений, Козлов испытал некоторое их влияние в своей поэзии. Влияние это выразилось и в сочувствии греческому восстанию («Пленный грек в темнице») и в некоторых филантропически окрашенных гражданских мотивах его поэзии. Но, по существу, политический характер байронизма Козлову был чужд, — он предлагал, как мы видели, Байрону «дополнить» байронизм религией. «Мизантропия» Байрона его пугала.

Для выяснения вопроса об отношении поэзии Козлова к байроновой важно проанализировать его поэму «Чернец».

Козлов создал своего «Чернеца» под влиянием Байрона, имея образцом байронову поэму «Гяур».

Он сам подчеркнул эту связь своей поэмы с байроновым «Гяуром», поставив эпиграфом к отдельным изданиям «Чернеца» четыре стиха из «Гяура»:

> The wither'd frame, the ruined mind,
> The wrack by passion left behind,
> A shrivelled scroll, a scatter'd leaf,
> Seared by the autumn blast of grief!
>
> *Lord Byron* (The Giaour).[1]

Это сходство «Чернеца» с Байроном сразу же бросалось в глаза и читателям поэмы Козлова. Получив «Чернеца», Пушкин писал брату:

«Повесть его — прелесть. Сердись он, не сердись, а «хотел простить — простить не мог» достойно Байрона. Видение, конец прекрасны. Хочется отвечать ему стихами».

Прочтя «Чернеца», Баратынский писал Козлову уже непосредственно о сходстве поэмы с «Гяуром».

---

[1] Перевод:

Иссохший каркас, разрушенный разум,
Оставшийся от страстей обломок кораблекрушения,
Покоробленный свиток, распавшийся лист,
Опаленный осенними порывами горя!

Лорд Байрон (Гяур).

«Les endroits imités de Byron le sont supérieurement, autant que je puis le deviner. Les quatre vers du Dgiaour:

А руки жадные дрожали
И только воздух обнимали;
Мечтой обмануты они
К груди прижалися одни

sont bien beaux en russe.

Mais ce que Byron, lui même aurait imité, c'est la fin de votre poëme. Elle parle singulièrement à l'imagination, elle est d'un romantisme singulièrement national, et je crois, que vous êtes le premier, qui l'ayez si bien saisi». [1]

Впоследствии Белинский, говоря о сходстве «Чернеца» с «Гяуром», справедливо отметил разность поэзии Байрона и Козлова. Он писал:

«Содержание «Чернеца» напоминает собой содержание Байронова «Джяура»: есть общее между ними и в самом изложении. Но это сходство чисто внешнее: «Джяур» не отражается в «Чернеце» даже и как солнце в малой капле воды, хотя «Чернец» и есть явное подражание «Джяуру».

---

[1] «Русский Архив», 1886, ч. 1, стр. 186—187. Перевод: «Места, в которых вы подражаете Байрону, превосходят оригинал, насколько я мог это угадать. Четыре стиха «Гяура»... превосходны по-русски. Но в чем сам Байрон мог бы вам подражать — это конец вашей поэмы. Он говорит единственно воображению, он имеет черты (нашего) национального романтизма, и я думаю, что вы первый, кто так хорошо это схватил».

От байроновой поэмы Козлов заимствовал только атрибуты поэтики, ослабив их и переведя тон стиха в элегический:

> Я всё имел, всё потерял,
> Нам не дали жить друг для друга,
> В сырой земле моя подруга,
> И не в цветах младенец мой.

Ср. также отзыв Дружинина:[1]

«Содержание «Чернеца» взято из байронова Гяура, но сам герой поэмы существо тихое и кроткое». Именно поэтому Белинский и сравнил успех «Чернеца» с успехом чувствительной повести Карамзина «Бедная Лиза».

Взамен байроновского «демонического героя» — с загадочной романтической судьбой — у Козлова в «Чернеце» читателю предстает несчастный юноша, биография которого вся проходит перед глазами читателя. Мы узнаем всю историю его трогательной любви и жизни до самой смерти, т. е. и в изложении биографии героя и в характере развертывания этой биографии Козлов нарушил и принцип вершинности композиции и принцип неполного изложения биографии героя, составляющие отличительные черты байронической поэмы.

Мало того, самое окончание поэмы «Чернец» далеко отстоит от духа байронов-

---

[1] «Библ. для чтения», 1855, т. 134, отд. 5, стр. 1—20.

ской поэзии. Последняя глава (XIV) «Чернеца» заимствована из поэмы Вальтера Скотта «Мармион» — произведения, проникнутого не бунтарским, а феодально-гуманистическим романтизмом.

Такая переработка Байрона могла, естественно, вызвать возмущение в людях, которым в байронизме было дорого его политическое и протестантское содержание.

В этом смысле очень точно и грубо квалифицировал байронизм Козлова один из крупнейших представителей декабристской литературы и критики, также один из русских байронистов А. А. Бестужев (Марлинский).

Он написал о «Чернеце», даже еще и не читав его (9 марта 1825 г.):

«Козлов написал «Чернеца» и, говорят, недурно. У него есть искра чувства, но ливрея поэзии на нем еще не обносилась, и не дай бог судить о Байроне по его переводам: это лорд в Жуковского пудре».[1]

И «ливрея поэзии» и слова о «пудре Жуковского» (Жуковский пудрился перед посещением дворцовых вечеров) — все это выражает отрицательное отношение Бестужева к выхолащиванию из Байрона революционных элементов его поэзии.

Таким образом, можно сказать, что и как русский байронист Козлов со своим

[1] «Русский Архив», 1881, кн. I, стр. 437.

сентиментально-гуманистическим истолкованием Байрона также остается последователем Жуковского.

Наконец еще одно обстоятельство сближает Козлова с Жуковским. Он был также поэтом-переводчиком.

Козлову принадлежит целый ряд переводов из Байрона. «К морю», «Ночь в замке Лары», «Португальская песня», «Обворожение», «К Тирзе», «Еврейская мелодия», из «Дон Жуана», «Прости», «Стансы», «Невеста Абидосская», «Добрая ночь» (из Чайльд Гарольда) и др.

Кроме того с английского им переведены: ряд стихов Вордсворта, Вальтера Скотта и Мура. Из них Мур — друг Байрона, виг, поэт, принимавший близкое участие в ирландском освободительном движении, и Вордсворт — поэт «озерной школы» английских романтиков, школы романтизма добайроновского и дошеллиевского, выросшей из поэзии классических элегиков XVIII века: Грея, Томсона и др.

Крабб, Кэмбелл (баллада его «King Ullin and his daughter» [1] переведена в России Жуковским), Роджерс, Саути (также многократно переводившийся Жуковским), Вордсворт (из Вордсворта Козлов перевел «Нас семеро») — вот имена английских поэтов, в той или иной мере близких к идеологии торизма, которые гораздо более

[1] Уллин и его дочь.

близки Козлову по своему мироощущению, чем Байрон. И очень характерно, что и поэзию Мура Козлов воспринял в ее русской реакционной трактовке, т. е. через Жуковского («Лалла Рук» и др.), совершенно очистив «Ирландские мелодии» Мура от их политической окраски.

И то обстоятельство, что Козлов был близок к элегикам, побуждало его переводить наряду с англичанами и французских элегических поэтов. Он перевел «La jeune captive» [1] Шенье, элегию Суме, элегический романс Шатобриана «Combien j'ai douce souvenance», [2] перевел ряд образцов итальянской мелодической и элегической лирики. Таким образом в своем восприятии западной поэтической культуры Козлов также очень близок к Жуковскому. Однако есть и отличие.

Если Жуковский был представителем в России преимущественно немецкого романтизма, возглавляя «немецкое направление» в русской литературе, то Козлов выступил со своими стихами, когда в литературе господствующим становилось влияние романтизма английского. В отличие от Жуковского, Козлов целиком связан не с Германией, не с Шиллером или Уландом, а с английскими романтиками — с Муром и Бернсом, с Вордсвортом и Вальтером Скоттом, с Байроном и Вольфом и т. д. и т. д.

---

[1] Молодая пленница.
[2] Сколько у меня сладостных воспоминаний.

Но в то время как декабристское крыло литературы в творчестве Байрона нашло эстетику романтического бунта, Козлов воспринял Байрона на фоне романтизма ториев — лишив байронизм его общественно-политического содержания. Две линии английского романтизма: байроновский и «озерной школы» — таким образом столкнулись и на русской почве, и Козлов оказался одним из наиболее заметных представителей в России именно политически консервативной школы «озерных поэтов». [1]

Но являясь целиком последователем и продолжателем Жуковского, Козлов в отличие, например, от Подолинского, не был эпигоном. Ему принадлежит свое место в развитии русской поэзии. Перерабатыв я и усваивая Байрона, Козлов стремился решать задачи создания национальной русской поэзии.

Поэтому-то он все время стремился переработать байроническую поэму в русскую национально-романтическую повесть, лишенную протестантского содержания и пропитанную общим водянистым гуманизмом, в те ложно-народные поэмы в русском

---

[1] То же самое можно сказать и об объединенном с ним в этой книжке поэте Подолинском. В русской поэзии первой половины XIX в. эта линия английской школы, линия русского элегического байронизма, т. е. Байрона, воспринятого через Жуковского и Козлова, — последним своим представителем имела поэта Подолинского.

стиле, которые Гоголь защищал в вышеприведенной цитате от справедливой критики Белинского. Эту задачу можно проследить не только в «Наталье Долгорукой», но уже и в «Чернеце». Попытки создания русской большой стиховой вещи на материале русской истории характеризуют весь фронт поэтической борьбы 20-х годов, эти попытки мы находим и у декабристов (Рылеев), и у любомудров, и у ранних славянофилов. Решал эти задачи, опираясь на опыт европейской поэзии, и Козлов.

Своими переводами из английских поэтов он подготовил русскую литературу к более углубленному пониманию новой английской поэзии и проложил дорогу прежде всего для Лермонтова, в стихах которого часто проскальзывают и выражения и интонации стихов Козлова, а в «Мцыри» — явная зависимость от козловского «Чернеца». Ср. например исповедь «Чернеца» и исповедь «Мцыри»:

«Чернец»

Он старца за̀ руку схватил
И так страдалец говорил:

IV

«Отец! меж вас пришлец угрюмый,
Быть может, я моей тоской

«Мцыри»

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.

. . . .

IV

. . . угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,

Смущал спасительные
думы
И мир обители святой.
Вот тайна: дней моих
весною
Уж я все горе жизни
знал:
Я взрос бездомным
сиротою,
Родимой ласки не
видал;
Веселья детства пролетали,
Едва касаясь до меня;
Когда ровесники
играли,
Уже задумывался я;
Огонь, и чистый, и прекрасный,
В груди младой пылал
напрасно:
Мне было некого любить!
Увы! я должен был
таить,
Страшась холодного
презренья
От неприветливых людей,
И сердца пылкого волненья,
И первый жар души
моей;
Уныло расцветала младость,
Смотрел я с дикостью
на свет,
Не знал я, что такое
радость...

Я вырос в сумрачных
стенах
Душой дитя, судьбой
монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов: отец
и мать.
Конечно, ты хотел,
старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных
имен
Напрасно. Звук их был
рожден
Со мной . . . Я видел
у других
Отчизну, дом, друзей,
родных,
А у себя не находил
Не только милых
душ — могил!
Тогда, пустых не тратя
слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-
нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к
груди другой,
Хоть незнакомой, но
родной.
Увы, теперь мечтанья
те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил в земле
чужой
Умру рабом и сиротой.

Но подготовляя, с одной стороны, поэтику русского байронизма Лермонтова,

с другой, Козлов — слепой поэт с обостренным своей слепотой ощущением красок ландшафта и красот природы — создал ряд образцов лирики природы, в которых уже намечается мелодическая система дворянской поэзии 40-60-х годов, нашедшая свое наиболее характерное выражение в пейзажной лирике Фета. Не случайно среди ранних стихов Фета мы находим подражание козловскому «Вечернему звону». О лирике Козлова именно как о «задушевной, мелодической, благоуханной» — полной «удивительной грусти и мелодичности», писал и Аполлон Григорьев.[1]

И в самом деле. Вот, например романс Козлова, предвосхищающий Фета:

Есть тихая роща у быстрых ключей,
И днем там и ночью поет соловей.
Там светлые воды приветно текут...

Итак, современник Пушкина, Жуковского и Баратынского, Козлов — поэт, хотя и неяркий, но безусловно своеобразный, — естественно, по своему дарованию, оказался на втором плане поэзии этой эпохи. Однако ему принадлежит в ней свое место — место между элегической лирикой Жуковского и дворянской поэзией 40-х—50-х годов, место, которое он должен занимать по праву.

Цезарь Вольпе

---

[1] «Москвитянин», 1855, 4, стр. 30.

ЧЕРНЕЦ

КИЕВСКАЯ ПОВЕСТЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Прекрасный друг минувших светлых дней,
Надежный друг дней мрачных и тяжелых,
Вина всех дум, и грустных, и веселых,
Моя жена и мать моих детей!
Вот песнь моя, которой звук унылой,
Бывало, в час бессоницы ночной,
Какою-то невидимою силой
Меня пленял и дух тревожил мой!
О, сколько раз я плакал над струнами,
Когда я пел страданье Чернеца,
И скорбь души, обманутой мечтами,
И пыл страстей, волнующих сердцá!
Моя душа сжилась с его душою:
Я с ним бродил во тьме чужих лесов;
С его родных Днепровских берегов
Мне веяло знакомою тоскою.
Быть может, мне так сладко не мечтать;
Быть может, мне так стройно не певать! —
Как мой Чернец, все страсти молодые
В груди моей давно я схоронил;
И я, как он, все радости земные
Небесною надеждой заменил.

Не зреть мне дня с зарями золотыми,
Ни роз весны, ни сердцу милых лиц!
И в цвете лет уж я между живыми
Тень хладная бесчувственных гробниц.
Но я стремлю, встревожен тяжкой мглою,
Мятежный рой сердечных дум моих
На двух детей, взлелеянных тобою,
И на тебя, почти милей мне их.
Я в вас живу, — и сладко мне мечтанье!
Всегда со мной мое очарованье.
Так в темну ночь цветок, краса полей,
Свой запах льет, незримый для очей.

Санктпетербург,
17 сентября 1824 г.

I

За Киевом, где Днепр широкой
В крутых брегах кипит, шумит,
У рощи на горе высокой
Обитель иноков стоит;
Вокруг нее стена с зубцами,
Четыре башни по углам,
И посредине божий храм
С позолоченными главами;
Ряд келий, темный переход,
Часовня у святых ворот
С чудотворящею иконой,
И подле ключ воды студеной
Журчит целительной струей
Под тенью липы вековой.

II

Вечерний мрак в туманном поле;
Заря уж гаснет в небесах;
Не слышно песен на лугах;
В долинах стад не видно боле;
Ни рог в лесу не затрубит,
Никто не про́йдет, — лишь порою
Чуть колокольчик прозвенит
Вдали дорогой столбовою;
И на Днепре у рыбаков
Уж нет на лодках огоньков;
Взошел и месяц полуночный,
И звезды яркие горят;
Поляны, рощи, во́ды спят;
Пробил на башне час урочный;
Обитель в сон погружена;
Повсюду мир и тишина.
В далёкой келье луч лампадный
Едва блестит; и в келье той
Кончает век свой безотрадный
Чернец, страдалец молодой.
Утраты, страсти и печали
Свой знак ужасный начертали
На пасмурном его челе;
Гроза в сердечной глубине,
Судьба его покрыта тьмою:
Откуда он, и кто такой? —
Не знают. Но, в вражде с собой,
Он мучим тайной роковою.
Раз ночью, в бурю он пришел;
С тех пор в обители остался,
Жизнь иноков печально вел,

Дичился всех, от всех скрывался;
Его вид чудный всех страшил,
Чернец ни с кем не говорил:
Но в глубине души унылой
Ужасное заметно было.
В торжественный молитвы час
И он певал хвалебный глас...
Но часто вопли тяжкой муки
Святые прерывали звуки!
Бывало, он, во тьме ночей,
Покоя в келье не находит,
И в длинной мантии своей
Между могил, как призрак, бродит; —
Теперь недвижим, ждет конца:
Недуг терзает Чернеца.

III

Пред ним, со взором умиленья,
Держал игумен крест спасенья. —
И тяжко страждущий вздыхал:
Он пламенел, он трепетал,
Он дважды тихо приподнялся,
Он дважды речь начать старался;
Казалось, некий грозный сон
Воспоминать страшился он,
И робко, дико озирался.
Чернец, Чернец, ужели ты
Все помнишь прежние мечты...
Но превозмог он страх могилы,
Зажглися гаснущие силы;
Он старца за руку схватил,
И так страдалец говорил:

IV

«Отец! меж вас пришлец угрюмый,
Быть может, я моей тоской
Смущал спасительные думы
И мир обители святой.
Вот тайна: дней моих весною
Уж я все горе жизни знал;
Я взрос бездомным сиротою,
Родимой ласки не видал;
Веселья детства пролетали,
Едва касаясь до меня;
Когда ровесники играли,
Уже задумывался я;
Огонь, и чистый, и прекрасный,
В груди младой пылал напрасно:
Мне было не́кого любить!
Увы! я должен был таить,
Страшась холодного презренья
От неприветливых людей,
И сердца пылкого волненья,
И первый жар души моей;
Уныло расцветала младость,
Смотрел я с дикостью на свет,
Не знал я, что такое радость;
От самых отроческих лет
Ни с кем любви не разделяя,
Жил нелюдимо в тишине, —
И жизнь суровая, простая
Отрадною казалась мне.
Любил я по лесам скитаться,
День целый за зверьми гоняться,

Широкий Днепр переплывать,
Любил опасностью играть,
Над жизнью дерзостно смеяться, —
Мне было нечего терять,
Мне было не́ с кем расставаться.

V

Но вскоре с невских берегов
Покрытый воин сединами
Приехал век дожить меж нами,
Под тенью отческих дубров.
Он жил в селе своем с женою,
И с ними дочь в семнадцать лет...
О старец! гроб передо мною...
Во взорах тмится божий свет...
Ее давно уж в мире нет...
Но ею все живу одною...
Она одна в моих мечтах,
И на земле, и в небесах...
Отец святой, теперь напрасно
О ней тебе подробно знать;
Я не хочу ее назвать...
Молися только о несчастной;
Случайно нас судьба свела!
Ее красы меня пленили!
Она мне сердце отдала, —
И мать с отцом нас обручили.
Уже налой с венцами ждал!
Все горе прежнее в забвеньи, —
И я в сердечном упоеньи,
Дивясь, творца благословлял.
Давно ль, печально увядая,
Была мне в тягость жизнь младая?

Давно ли дух томился мой,
Убитый хладною тоской?
И вдруг дано мне небесами
И жить, и чувствовать вполне,
И плакать сладкими слезами,
И видеть радость не во сне;
С какой невинностью святою
Она, пылающей душою,
Лила блаженство на меня;
И кто из смертных под луною
Так мог любить ее, как я?
Сбылося в ней мое мечтанье,
Весь тайный мир души моей, —
И я, любви ее созданье,
И я воскрес любовью к ней!

VI

Но снова рок ожесточился;
Я снова обречен бедам.
Какой-то вдруг, на гибель нам,
Далекий родственник явился;
Он польских войск хорунжий был;
Злодей, он чести изменил!
Он прежде сам коварно льстился
С ней в брак насильственно вступить,
Хотел ограбить, притеснить, —
И пре́зрен был, и только мщенья
Искал, с улыбкой примиренья.
О, мой отец! сердечный жар
Благих небес высокий дар,
Нет, не горит огонь священной
В душе, пороком омраченной.
Не видно звезд в туманной мгле:

Любовь — святое на земле.
Ему ль любить!.. Но, ах, судьбою
Нам с нашей матерью родною
Была разлука суждена!
Она внезапно сражена
Недугом тяжким... мы рыдали,
Мы одр с молитвой окружали;
Настал неизбежимый час:
Родная скрылася от нас.
Еще теперь перед очами,
Как в страшную разлуки ночь
Теплейшей веры со слезами
Свою рыдающую дочь
Земная мать благословляла,
И, взяв дрожащею рукой
Пречистой девы лик святой,
Ее небесной поручала.
С кончиной матери, смелей
Стал мстить неистовый злодей;
Он клеветал; уловкой злою
Он слабой овладел душою, —
И старец слову изменил:
Желанный брак разрушен был.
Обманут низкой клеветою,
Он мнил, безжалостный отец,
Что узы пламенных сердец
Мог разорвать; и дочь младая,
Его колена обнимая,
Вотще лила потоки слез;
Но я ни гнева, ни угроз,
Ни мщенья их не убоялся,
Презрел злодея, дочь увёз,
И с нею тайно обвенчался.

VII

Быть может, ты, отец святой,
Меня за дерзость обвиняешь;
Но, старец праведный, не знаешь,
Не знал ты страсти роковой.
Ты видишь сердца трепетанья,
И смертный хлад, и жар дыханья,
И бледный лик, и мутный взор,
Мое безумье, мой позор,
И грех, и кровь, — вот пламень
страстный!
Моей любви вот след ужасный!
Но будь мой рок еще страшней:
Она была... была моей!
О, как мы с нею жизнь делили!
Как, утесненные судьбой,
Найдя в себе весь мир земной,
Друг друга пламенно любили!
Живою нежностью мила,
В тоске задумчивой милее,
На радость мне она цвела;
При ней душа была светлее.
Промчался год прелестным сном,
Уж мнил я скоро быть отцом;
Мы сладко в будущем мечтали
И оба вместе уповали:
Родитель гневный нам простит.
Но злоба алчная не спит:
В опасный час к нам весть несется,
Что вся надежда отнята,
Что дочь отцом уж проклята...

Обман ужасный удается —
Злодей несчастную убил:
Я мать с младенцем схоронил.
И я... творец!.. над той могилой,
Где лег мой сын с подругой милой,
Стоял, — и жив!..
Отец святой!
Ка́к было что́ потом со мною,
Не знаю: вдруг какой-то тьмою
Был омрачен рассудок мой;
Лишь помню, что, большой дорогой,
И день и ночь скитаясь, я
Упал; когда ж вошел в себя,
Лежал уж в хижине убогой,
Без чувства бед моих, без сил;
Я жизнь страданьем пережил,
И в сердце замерло волненье;
Не скорбь, но страх и удивленье
Являло томное лицо;
В душе все прежнее уснуло;
Но невзначай в глаза мелькнуло
Мое венчальное кольцо . . .
. . . .

VIII

Я бросил край наш опустелой;
Один, в отчаяньи, в слезах,
Блуждал, с душой осиротелой,
В далеких дебрях и лесах.
Мой сын, мой вопль, мои укоры,
Ущелья мрачные и горы
Внимали с ужасом семь лет.

Угрюмый, скорбный, одичалой
Терзался я мечтой бывалой;
Рыдал о том, чего уж нет.
Ночная тень, поток нагорной,
И бури свист, и ветров вой
Сливались втайне с думой черной,
С неутолимою тоской;
И горе было наслажденьем,
Святым остатком прежних дней;
Казалось мне, моим мученьем
Я не совсем расстался с ней.

IX

Где сердце любит, где страдает,
И милосердый бог наш там:
Он крест дает, и он же нам
В кресте надежду посылает.
Чрез семь тяжелых, грозных лет
Блеснул и мне отрадный свет.
Однажды я, ночной порою,
Сидел уныло над рекою;
И неба огнезвездный свод,
И тихое луны мерцанье,
И говор листьев, и плесканье
Луной осеребренных вод —
Невольно душу все пленяло,
Все в мир блаженства увлекало
Своей таинственной красой.
Проснулся дух мой сокрушенной:
«Творец всего! младенец мой
С моей подругой незабвенной
Живут в стране твоей святой;

И, может быть, я буду с ними,
И там они навек моими!..»
Любви понятны чудеса:
С каким-то тайным ожиданьем
Дрожало сердце упованьем;
Я поднял взор на небеса,
Дерзал их вопрошать слезами...
И, мнилось мне, в ответ был дан
Сей безмятежный океан
С его нетленными звездами.
С тех пор я в бедствии самом
Нашел, отец мой, утешенье,
И тяжким уповал крестом
С ней выстрадать соединенье.
Еще, бывало, слезы лью,
Но их надежда услаждала,
И горесть тихая сменяла
Печаль суровую мою.
Забыл я, верой пламенея,
Мое несчастье и злодея:
Она с младенцем в небесах
Мечталась сердцу в райских снах.
Я к ней душою возносился,
И мысль одним была полна:
Желал быть чистым, как она,
И с жизнью радостно простился;
Но умереть хотелось мне
В моей родимой стороне.
Я стал скучать в горах чужбины:
На рощи наши, на долины
Хотел последний бросить взгляд,
Увидеть край, весь ею полный,
И сельский домик наш, и сад,

И синие днепровски волны,
И церковь на холме, где спит
В тени берез их пепел милой,
И как над тихою могилой
Заря вечерняя горит.

X

Ах, что сбылось с моей душою,
Когда в святой красе своей
Вдруг вид открылся предо мною
Родимых киевских полей!
Они, как прежде, зеленели,
Волнами так же Днепр шумел,
Все тот же лес вдали темнел,
На жнивах те же песни пели,
И так же всё в стране родной,
А нет лишь там ее одной!
Везде знакомые долины,
Ручьи, пригорки и равнины,
В прелестной, милой тишине,
Со всех сторон являлись мне
С моими светлыми годами;
Но с отравленною душой,
На родине пришлец чужой,
Я их приветствовал слезами
И безотрадною тоской.
Я шел; день к вечеру склонялся;
И скоро сельский божий храм
Предстал испуганным очам;
И вне себя я приближался
К могиле той, где сын, жена...
Вся жизнь моя погребена.

Я чуть ступал, как бы страшился
Прервать их непробудный сон;
В груди стеснял мой тяжкий стон,
Чтоб их покой не возмутился;
Страстям встревоженным своим
Не смел вдаватися дух унылой;
Казалось мне, над их могилой
Дышал я воздухом святым.
Творилось дивное со мною,
И я с надеждой неземною
Колена тихо преклонил,
Молился, плакал и любил...
Вдруг слышу шорох за кустами;
Гляжу, что ж взор встречает мой?
Жнеца с подругой молодой,
И воз, накладенный снопами;
И вижу я, между снопов,
Сидит в венке из васильков
Младенец с алыми щеками.
Невольно я затрепетал:
«Я все имел, все потерял,
Нам не дали жить друг для друга.
В сырой земле моя подруга,
И не в цветах младенец мой;
Его червь точит гробовой».
В слезах тогда к ним на могилу
Без памяти бросаюсь я;
Горело сердце у меня;
Тоска души убила силу.
Целуя дерн, я разрывал
Руками жадными моими
Ту землю, где я лег бы с ними;
В безумстве диком я роптал;

Мне что-то страшное мечталось;
Едва дышал я, в мутной тьме
Сливалось всё, как в тяжком сне;
Уж чувство жизни пресекалось,
И я лежал между гробов
Мертвей холодных мертвецов.
Но свежий воздух, влажность ночи
Страдальца вновь животворят;
Вздохнула грудь, открылись очи,
Кругом бродил мой томный взгляд:
Все было тихо, скрыто мглою,
В тумане месяц чуть светил,
И лишь могильною травою
Полночный ветер шевелил.

XI

Я встал, и скорыми шагами
Пошел с потупленной главой
Через поляну, за кустами
Вилась дорога под горой;
Почти без памяти, без цели
Я шел, куда глаза глядели;
Из-за кустов навстречу мне
Несется кто-то на коне.
Не знаю сам, какой судьбою,
Но вдруг... я вижу пред собою,
При блеске трепетном луны,
Убийцу сына и жены.
Отец, то встреча роковая!
Я шел, весь мир позабывая;
Не думал я его искать,
Я не хотел ему отмщать;

Но он, виновник разлученья,
Он там, где милые в гробах,
Когда еще в моих очах
Дрожали слезы исступленья...
То знает совесть, видит бог;
Хотел простить, простить не мог.
Я изменил святой надежде,
Я вспомнил всё, что было прежде,
И за узду схватил коня:
«Злодей, узнал ли ты меня?»
Он робко смотрит, он дивится,
Он саблю обнажить стремится;
Увы! со мною был кинжал...
И он в крови с коня упал.
Тогда еще не рассветало;
Я вне себя иду назад;
И рощи, и поля молчат,
Перед зарею все дремало,
Лишь несся гул издалека,
Как конь скакал без седока,
Бесчувственно я удалялся.
Всё, что сбылось, казалось мне
Как что-то страшное во сне.
Вдруг звон к заутрене раздался...
Огнями светлый храм сиял,
А небо вечными звездами,
И лунный свет осеребрял
Могилы тихие с крестами;
Призывный колокол звенел;
А я стоял, а я смотрел,
Я в светлый храм итти не смел...
«О чем теперь, и как молиться?
Чего мне ждать у алтарей?

Мне ль уповать навеки с ней
В святой любви соединиться?
Как непорочность сочетать
Убийцы с буйными страстями?
Как в небе ангела обнять
Окровавленными руками?»

XII

В обитель вашу я вступил,
Искал я слез и покаянья;
Увы, я, грешный, погубил
Святые сердца упованья!
Бывало, бедствие мое
Я верой услаждал всечасно;
Теперь — до гроба жить ужасно!
За гробом — вечность без нее!
Я мнил, отец мой, между вами
Небесный гнев смягчать слезами;
Я мнил, что пост, молитва, труд
Вине прощенье обретут;
Но и в обители спасенья
Я слышу бурь знакомый шум:
Проснулись прежние волненья,
И сердце полно прежних дум.
Везде, отчаяньем томимый,
Я вижу лик неотразимый;
Она в уме, она в речах,
Она в моленьи на устах;
К ней сердце пылкое стремится,
Но тень священную боится
На лоне мира возмутить.
О, верь, необагренный кровью,

Дышал я чистою любовью,
Умел земное позабыть:
Я в небесах с ней думал жить!
Теперь, как гибельным ударом
И там я с нею разлучен,
Опять горю безумным жаром,
Тоскою дикой омрачен.
Здесь на соломе, в келье хладной,
Не пред крестом я слезы лью;
Я вяну, мучуся, люблю,
В печали сохну безотрадной;
Весь яд, все бешенство страстей
Кипят опять в груди моей,
И, жертва буйного страданья,
Мои преступные рыданья
Тревожат таинство ночей.

XIII

Вчера — бьет полночь — страх могилы
Последние разрушил силы,
И пред иконою святой
С непостижимою тоской
Я изливал мои страданья;
Я милосердого молил,
Чтоб грех кровавый мне простил,
Чтоб принял слезы покаянья.
Вдруг, что-то, свыше осеня,
Как будто душу озарило
И тайной святостью страшило,
Отец мой, грешного меня.
Лампада луч дрожащий, бледной
Бросала томно в келье бедной.

Покрыта белой пеленой,
Она предстала предо мной,
И черные горели очи
Ярчее звезд осенней ночи.
О, нет, то был не призрак сна
И не обман воображенья!
Святой отец, к чему сомненья!
С нее слетела пелена,
И то была, поверь... она!
Она, прелестная, младая!
Ее улыбка неземная!
И кудри темные с чела
На грудь лилейную бежали,
И, мнилось мне, ее уста
Былое, милое шептали;
Все та ж любовь в ее очах
И наш младенец на руках.
«Она!.. прощен я небесами!»
И слезы хлынули ручьями.
Я вне себя бросаюсь к ней,
Схватил, прижал к груди моей...
Но сердце у нее не бьется,
Молчит пленительная тень;
Неумолимая несется
Опять в таинственную сень:
И руки жадные дрожали,
И только воздух обнимали;
Мечтой обмануты, они
К груди прижалися одни.
«Ужель отринуты моленья?
Ужель ты вестник отверженья?
Или, в ужасный, смертный час,
Моя всё верная подруга,

Хотела ты в последний раз
Взглянуть на гибнущего друга?..»
И с ложа на колена пал
Чернец, и замер голос муки;
Взор оживился, засверкал;
К чему-то вдруг простер он руки,
Как исступленный закричал:
«Ты здесь опять!.. конец разлуки!
Зовешь!.. моя!.. всегда!.. везде!..
О, как светла!.. к нему!.. к тебе!..»

XIV

Два дня, две ночи он томился,
И горько плакал, и молился;
На третью ночь отец святой
Обитель мирную сзывает;
Последний час уже летает
Над юной, грешною главой.
И в келью брата со свечами
Собором иноки вошли,
И белый саван принесли...
И гроб дощатый за дверями.
Печален был их томный глас,
За упокой души молящих;
Печален вид их черных ряс
При тусклом блеске свеч горящих.
Прочитана святым отцом
Отходная над чернецом.
Когда ж минута роковая
Пресекла горестный удел,
Он, тленный прах благословляя,
Ударить в колокол велел...

И звон трикратно раздается
Над полуночною волной,
И об усопшем весть несется
Далеко зыбкою рекой.
В пещеру вещий звон домчался,
Где схимник праведный спасался:
«Покойник!» — старец прошептал,
Открыл налой и четки взял;
У рыбаков сон безмятежной
Им прерван в хижине прибрежной.
Грудной младенец стал кричать;
Его крестит спросонья мать,
Творить молитву начинает,
И тихо колыбель качает,
И перед тлеющим огнем
Опять уснула крепким сном.
И через поле той порою
Шел путник с милою женою;
Они свой ужас в темну ночь
Веселой песнью гнали прочь:
Они, лишь звоны раздалися, —
Перекрестились, обнялися,
Пошли грустней рука с рукой...
И звук утих во тьме ночной.

К ДРУГУ В. А. ЖУКОВСКОМУ

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ЕГО ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

Опять ты здесь! опять судьбою
Дано мне вместе быть с тобою,
И взор хотя потухший мой
Уж взоров друга не встречает,
Но сердцу внятный голос твой
Глубоко в душу проникает.
О, долго в дальней стороне
Ты зажился, наш путник милый!
И сей разлуки год унылый,
Мой друг, был черным годом мне!
Но я любить не разучился,
Друзей моих не забывал,
От них нигде не отставал
И часто мысленно носился
С тобою выше облаков,
В стране, где посреди снегов
Весна роскошно зеленеет,
Где виноград душистый рдеет,
Дубравы мирные шумят,
Луга красуются цветами
И вековые льды горят
Небесной радуги огнями.
И часто, часто я с тобой
Альпийских ветров слушал вой,

И мрачных сосн суровый ропот,
И тайный их полночный шопот, —
Смотрел, как с гор поток там бьет
И грохот в рощах раздается;
Здесь, рухнув, лавина падет,
Чрез села страшный путь берет
И лавой снежною несется.
Но вид угрюмой красоты
От сердца гонит прочь мечты —
И нас в священный трепет вводит.
Бывало, чаще в мысль приходит,
Когда уж месяц над рекой,
Что друг вечернею порой
В раздумьи по долинам бродит,
Плывет по тихим озерам
И, к синим их склонен струям,
В часы сердечного мечтанья,
Чужим передает волнам
Родимых волн воспоминанья
И дальних милых тех полей,
Где он в беспечности своей
Жизнь встретил, счастью доверяясь,
Когда надежда, улыбаясь,
Тропинкой призраков вела:
Там он лелеял грусть и радость,
И в вдохновеньях там цвела
Его задумчивая младость.
И кто ж весну свою забыл?
Кто не живет воспоминаньем?
И я его очарованьем
Бываю менее уныл,
Улыбку иногда встречаю
И, весь в минувшем, забываю,

Как в непреклонности своей
Судьба карать меня умеет, —
И память прежних светлых дней
Тоской отрадною мне веет:
И я, мой друг, и я мечтал!
Я видел сон любви и счастья,
Я свято сердцем уповал,
Что нет под небом им ненастья;
С зарей, ты знаешь, юных дней,
Пленен любимою мечтою,
Стремился я за ней одною,
И без нее мне белый свет
Казался степью лишь пустою;
С душой, наполненной огнем,
Я волн и бурь не устрашился, —
И в легком челноке моем
Отважно по морю пустился.
Меня манил надежды луч,
И, как гроза ни бунтовала,
Мне из-за гневных черных туч
Звезда приветная сияла:
Что сердцу снилось, все сбылось!
Ах, для чего же молодое,
Мое ты счастье золотое,
Так быстро, быстро пронеслось!
Иль видно, друг, сказать с тобою;
Не у меня ему гостить!
Так мы слыхали, что порою
Случайно птичка залетит
От южных островов прекрасных
В страну дней мрачных и ненастных,
Где дикий дол и темный лес
Не зрели голубых небес,

И там эфирною красою,
И пенья нежностью простою
Угрюмый бор развеселит,
Минутной негой подарит!..
Но край, где буря обитает,
Ей не родная сторона:
И, лишь залетная, она
Мелькнет, прельстит и улетает.

Пять раз зеленые поля
Весна цветами обновляла,
С тех пор, как, друг, она меня
В тенистых рощах не видала.
Пять целых лет, в борьбе страстей,
В страданьях, горем я томился,
Окован злой судьбой моей,
Во цвете лет уж я лишился
Всего, что в мире нас манит,
Всего, что радость нам сулит.
Могу ли усыпать цветами
Жизнь той, кем жизнь моя цвела,
Которая в груди зажгла
Пыл страстный райскими мечтами, —
И в даль туманную со мной
Шла радостно рука с рукой!..
Мой друг, простясь с очарованьем
Душою быть семьи своей,
Щитом, отрадой, упованьем
Подруги милой и детей,
Уже дружился я с тоскою,
Забыл себя, стал ими жить,
Умел их окружить собою,
В одно мои все чувства слить,

Любовью счастье заменить...
Но что ж!.. и божий свет скрываться
Вдруг начал от моих очей!
И я... я должен был расстаться
С последней радостью моей.
Напрасно для меня, напрасно
И солнце мир животворит.
И негой дышит месяц ясный,
И зыбь потоков серебрит!
Не буду зреть полей зеленых,
Лазури светлой чистых вод,
Ни дня торжественных красот,
Ни звезд во тьме ночной зажженных.
Но, друг, тогда, как надо мной
Рок свирепел и вечной мглой,
И безотрадными годами
Мою он душу ужаснул,
Я, день и ночь встречав слезами,
На поле, рощи не взглянул,
Забыл проститься с небесами:
Ах, на жену и на детей
Хотело сердце насмотреться!..
Хотел я, чтоб в душе моей
Уже вовек не мог стереться
Очам незримый образ их!
«О! — думал я, — в бедах твоих
Одно лишь счастье оставалось,
Чтоб тех, кто сердцу милы, зреть,
И сердце ими любовалось
И мог ты радости иметь
Смотри на них! уж наступает
Тот грозный мрак, в котором ты
Не узришь их!.. Детей черты,

Ты знаешь, время изменяет,
С годами новый вид дает;
Страшись же; вид сей изменится,
И будет образ их не тот,
Который в сердце сохранится!»
И я, с отчаянной тоской,
На них стремил взор тусклый мой,
На миг покинуть их боялся,
К моей груди их прижимал,
От горя думать забывал,
Смотрел на них... но уж скрывался
Мне милый вид в какой-то тьме:
Он исчезал, сливался с мглою,
И то, что есть, казалось мне
Давно минувшею мечтою.
Угас, угас луч светлый дня,
И сердце кровью обливалось:
И все в грядущем для меня,
Как бездна гибели, являлось.
Навеки окружен я тьмой!
Любовь, жизнь, счастье, всё — за мной!
К чему же мне души волненье?
К чему мне чувства жар святой?
О, радость! ты не жребий мой!
Мне нет сердечных упоений;
Я буду тлеть без услаждений!..
Так догорает одинок
Забытый в поле огонек;
Он никого не согревает,
Ничьих не радует он глаз;
Его в полночный путник час
С каким-то страхом убегает.

О, друг! поверь, единый бог,
В судьбах своих непостижимый,
Лишь он, всесильный, мне помог
Стерпеть удар сей нестерпимый!
Уже я духом упадал,
Уже в отчаяньи томился;
Хотя роптать и не дерзал,
Но, ах, и уповать страшился!
Уже в печали дикой сей
Мои все мысли затмевались:
И жизнь, и смерть в судьбе моей
Равно ужасными казались.
Но вдруг... хвала тебе, творец! —
Ты не забыл свое творенье!
Ты видишь глубину сердец,
Ты слышишь тайное моленье.
Хвала тебе, мой страх исчез!
Как ангел мирный, благодатный,
Как вестник милости небес,
Незримый, тайный, но понятный,
Носилось что-то надо мной:
Душа отрадный глас ловила, —
И вера, огненной струей,
Страдальцу сердце оживила.
Мне мниться стало, что и я
Еще дышать любовью смею,
Что тяжкой участью моею
Он — мой отец, не судия —
Дает мне способ с умиленьем
Его о детях умолять,
И им купить, моим терпеньем,
Его святую благодать!
И с ней, надеждою бесценной,

Мне сила крест нести дана;
И с ней в душе моей смятенной
Опять родилась тишина.

Но как навек всего лишиться?
Как мир прелестный позабыть?
Как не желать, как не тужить?
Живому с жизнью как проститься?..
Тогда в священной красоте
Внезапно дружба мне предстала:
Она так радостно сияла!
В ее нашел я чистоте
Утеху, нежность, сожаленье,
И ею жизнь озарена.
Ты правду нам сказал: она
Второе наше п· овиденье!
Светлана добрая твоя
Мою судьбу переменила,
Как ангел божий ' і излетя,
Обитель горя посетила, —
И безутешного меня
Отрадой первой подарила.
Случ ло ь ли когда, что вдруг,
Невольной угнетен тоскою,
Я слезы лил, — тогда, мой друг,
Светлана плакала со мною;
В надеждах веры устремлять
Все чувства на детей искала,
И чем мне сердце услаждать,
Своим то сердцем отгадала;
И вслед за ней явились мне
Те добродетели ‹ вятые,
Всегда, везде ко всем благие,

И лишь могущие одне
Печаль и горести земные
В блаженный превращать удел.
А там с улыбкой прилетел
И новый ангел-утешитель,
И сердца милый ободритель,
Прекрасный друг тоски моей:
Небесной кротостью своей
И силой нежных увещаний
Она мне сладость в душу льет,
Ласкает, радует, поет, —
И рой моих воспоминаний,
С цветами жизни молодой,
Как в блеске радужных сияний,
Летает снова надо мной.

Еще, мой друг, два утешенья
Остались мне: то легких снов
И призраков ночных явленья,
И вас, возвышенных певцов,
Божественные песнопенья.
Так, снов пленительный обман
В замену истины мне дан;
Он жизни памятью остался;
О том, с чем я навек расстался,
Правдивую дает мне весть:
Опять мне кажет мир приветный,
Разнообразный, разноцветный,
Почти таким, каков он есть;
Он мне любимое являет
Мечтой отрадною своей,
И зáвесу с моих очей
Волшебной силою снимает.

Ах! удается часто мне
Смотреть на божий свет во сне,
Пленять мой жадный взор лесами,
Рекою, нивами, полями,
И всей знакомой красотой
Тех мест, где прежнею порой
Я часто ею любовался!
Как ты, мой друг, я не скитался
В чужих далеких сторонах:
Все родина в моих мечтах.
Однажды как-то я забылся
Обманчивым, но сладким сном:
И вдруг далеко очутился
Один на берегу крутом,
Там, у родной Москвы. [1] День знойный,
Мне снилось, ярко догорал,
И вечер пламенно-спокойный
Во всей красе своей блистал;
Внизу Москва-река сверкала,
Игриво рощу обтекала;
В дали гористой под селом
Был виден лес, желтели нивы,
А близ Дербента, [2] над прудом
Тенистые дремали ивы,
И зеленело за рекой
Девичье поле пред глазами,
И монастырь белел святой
С горящими, как жар, крестами;
От стен к приманчивым струям
Долинка ясная пестрела;

[1] Здесь описывается Васильевское, загородный дом князя Юсупова, близ Воробьевых гор.
[2] Сад графини Пушкиной.

Тут домик сельский; в липах там
Часовня спрятаться хотела;
На всех соседственных холмах
Сады и дачи красовались,
И в ярких вечера огнях
Струей багряной освещались,
И зелень рощей и полян
Сливалась с твердью голубою.
И стлался золотой туман
Над белокаменной Москвою.
Не знаю, друг, но вряд ли где
Подобный вид тебе являлся!
Опять однажды, все во сне,
Я ночью по Неве катался,
Между роскошных островов
Летел прозрачною рекою:
И вид красивых берегов,
Дач, рощей, про́сек и садов,
Осеребряемых луною,
И озаренный божий храм,
И царский дом, и мост чрез волны,
Легко так брошенный, все там
Пленяет взор. Но вздох невольный,
От сердца тяжко вылетал.
Ты часто, милый край, видал
Меня близ вод твоих струистых
На изумрудных берегах
И в цветниках твоих душистых,
И в темных рощах, и в садах:
До поздней ночи там с тоскою
Сижу, бывало, над Невою;
И часто ранняя заря
Меня в раздумьи заставала.

Но, ах, уж радость для меня
Давно с зарей не расцветала.
Еще ж случается, что я
Сны боле по сердцу видаю:
Я вижу вас, мои друзья,
Мою жену, детей ласкаю.
О, для чего ж в столь сладком сне
Нельзя мне вечно позабыться!
И для чего же должно мне
Опять на горе пробудиться!
Когда же я в себе само́м,
Как в бездне мрачной, погружаюсь, —
Каким волшебным я щитом
От черных дум обороняюсь!
Я слышу дивный арфы звон,
Любимцев муз внимаю пенье,
Огнем небесным оживлен:
Мне льется в душу вдохновенье,
И сердце бьется, дух кипит,
И новый мир мне предстоит;
Я в нем живу, я в нем мечтаю,
Почти блаженство в нем встречаю;
Уж без страданья роковой
Досуг в занятьях протекает;
Беседа мудрых укрепляет
Колеблемый рассудок мой;
Дивит в писателях великих
Рассказ деяний знаменитых:
Иль нежной звучностью своей
Лелеют арфы золотые
Мятежный жар души моей
И сердца тайны дорогие.

О, счастлив тот, кто обнимать
Душ возвышенных чувства, мненья
Стремится с тем, чтоб поверять
Свои сердечные движенья!
Мы с ними чувствуем живей,
Добрее, пламенней бываем.
Так Русь святая нам святей,
Когда Карамзина читаем;
Так пыл встревоженных страстей
Твой гений услаждать умеет,
Огнем любовь небесным веет
Когда над Ниною твоей
Невольно слезы наши льются —
И весело часы несутся!
О, друг, поэзия для всех
Источник силы, ободренья,
Животворительных утех
И сладкого самозабвенья!
Но для меня лишь в ней одной
Цветет прекрасная природа!
В ней мир разнообразный мой!
В ней и веселье и свобода!
Она лишь может разгонять
Души угрюмое ненастье,
И сердцу сладко напевать
Его утраченное счастье.

Теперь ты зришь судьбу мою,
Ты знаешь, что со мной сбылося;
О, верь, отрадно в грудь твою
Мое все сердце излилося!
Несносный страх душой остыть
Всего ужасней мне казался, —

И я стал пламенней любить,
Чем боле чувствами стеснялся.
Изведал я, что убивать
Не могут грозные страданья,
Пока мы будем сохранять
Любви чистейшей упованья.
И здесь ли, друг, всему конец?
Взгляни... над нашими главами
Есть небо с вечными звездами,
А над звездами их творец!

АКЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

[ИЗ КНИГИ «КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ», ПОСВЯЩЕННОЙ АДАМУ МИЦКЕВИЧУ]

В пространстве я плыву сухого океана;
Ныряя в зелени, тону в ее волнах;
Среди шумящих нив я зыблюся в цветах,
Минуя бережно багровый куст бурьяна.

Уж сумрак. Нет нигде тропинки, ни кургана;
Ищу моей ладье вожатую в звездах,
Вот облако блестит; заря на небесах...
О, нет! — то светлый Днестр, — то лампа Акермана.

Как тихо! постоим: далеко слышу я,
Как вьются журавли; в них сокол не вглядится;
Мне слышно—мотылек на травке шевелится,

И грудью скользкою в цветах ползет змея.
Жду голоса с Литвы — туда мой слух проникнет...
Но едем, — тихо все — никто меня не кликнет.

НА ПОГРЕБЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА СИРА ДЖОНА МУРА

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.

И бедная почесть в ночи отдана;
Штыками могилу копали;
Нам тускло светила в тумане луна,
И факелы дымно сверкали.

На нем не усопших покров гробовой,
Лежит не в дощатой неволе:
Обернут в широкий свой плащ боевой,
Уснул он, как ратники в поле.

Не долго, но жарко молилась творцу
Дружина его удалая,
И молча смотрела в лицо мертвецу,
О завтрашнем дне помышляя.

Быть может, на утро внезапно явясь,
Враг дерзкий, надменности полный,

Тебя не уважит, товарищ, а нас
    Умчат невозвратные волны.

О нет, не коснется в таинственном сне
    До храброго дума печали!
Твой одр одинокий в чужой стороне
    Родимые руки постлали.

Еще не свершен был обряд роковой,
    И час наступил разлученья;
И с валу ударил перун вестовой
    И нам он не вестник сраженья.

Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
    На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
    С твоею бессмертною славой.

ВЕНЕЦИЯНСКАЯ НОЧЬ

Фантазия

(П. А. ПЛЕТНЕВУ)

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков,
И восходит пар душистой
От зеленых берегов.

Свод лазурный, томный ропот
Чуть дробимыя волны,
Померанцев, миртов шопот
И любовный свет луны,
Упоенья аромата
И цветов, и свежих трав,
И вдали напев Торквата
Гармонических октав —

Все вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир,
Сердце бьется; мчится радость
На любви весенний пир,

По водам скользят гондолы,
Искры брызжут под веслом,
Звуки нежной баркаролы
Веют легким ветерком.

Что же, что не видно боле
Над игривою рекой
В светлоубранной гондоле
Той красавицы младой,
Чья улыбка, образ милый
Волновали все сердца
И пленяли дух унылый
Исступленного певца?

Нет ее: она тоскою
В за́мок свой удалена;
Там живет одна с мечтою,
Тороплива и мрачна.
Не мила ей прелесть ночи,
Не манит сребристый ток,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Но густее тень ночная;
И красот цветущий рой,
В неге страстной утопая,
Покидает пир ночной.
Стихли пышные забавы,
Все с окойно на реке,
Лишь Торкватовы октавы
Раздаются вдалеке.

Вот прекрасная выходит
На чугунное крыльцо;

Месяц бледно луч наводит
На печальное лицо;
В русых локонах небрежных
Рисовался легкий стан,
И на персях белоснежных
Изумрудный талисман!

Уж в гондоле одинокой
К той скале она плывет,
Где под башнею высокой
Море бурное ревет.
Там певца воспоминанье
В сердце пламенном живей,
Там любви очарованье
С отголоском прежних дней.

И в мечтах она внимала,
Как полночный вещий бой
Медь гудящая сливала
С вечно шумною волной.
Не мила ей прелесть ночи,
Душен свежий ветерок,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Тучи тянутся грядою,
Затмевается луна;
Ясный свод оделся мглою;
Тьма внезапная страшна.
Вдруг гондола осветилась,
И звезда на высоте
По востоку покатилась
И пропала в темноте.

И во тьме с востока веет
Тихогласный ветерок;
Факел дальний пламенеет, —
Мчится по морю челнок.
В нем уныло молодая
Тень знакомая сидит,
Подле арфа золотая,
Меч под факелом блестит.

Не играйте, не звучите,
Струны дерзкие мои:
Славной тени не гневите!..
О! — свободы и любви
Где же, где певец чудесный?
Иль его не сыщет взор?
Иль угас огонь небесный,
Как блестящий метеор?

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

(КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ)

То не кукушка в роще темной
Кукует рано на заре —
В Путивле плачет Ярославна
Одна на городской стене:

«Я покину бор сосновый,
Вдоль Дуная полечу,
И в Каяль-реке бобровый
Я рукав мой обмочу;
Я домчусь к родному стану,
Где кипел кровавый бой,
Князю я обмою рану
На груди его младой».

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«Ветер, ветер, о могучий,
Буйный ветер! что шумишь?
Что ты в небе черны тучи
И вздымаешь, и клубишь?
Что ты легкими крылами
Возмутил поток реки,

Вея ханскими стрелами
На родимые полки»?

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«В облаках ли тесно веять
С гор крутых чужой земли,
Если хочешь ты лелеять
В синем море корабли?
Что же страхом ты усеял
Нашу долю? для чего
По ковыль-траве развеял
Радость сердца моего?»

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«Днепр мой славный! ты волнами
Скалы половцев пробил;
Святослав с богатырями
По тебе свой бег стремил:
Не волнуй же, Днепр широкий,
Быстрый ток студеных вод, —
Ими князь мой черноокий
В Русь святую поплывет».

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«О река! отдай мне друга, —
На волнах его лелей,
Чтобы грустная подруга
Обняла его скорей;

Чтоб я боле не видала
Вещих ужасов во сне,
Чтоб я слез к нему не слала
Синим морем на заре».

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«Солнце, солнце, ты сияешь
Всем прекрасно и светло!
В знойном поле что сжигаешь
Войско друга моего?
Жажда луки с тетивами
Иссушила в их руках,
И печаль колчан с стрелами
Заложила на плечах».

И тихо в терем Ярославна
Уходит с городской стены.

КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Мне говорят: «Она поет —
И радость тихо в душу льется,
Раздумье томное найдет,
В мечтаньи сладком сердце бьется.

И то, что мило на земли,
Когда поет она — милее,
И пламенней огонь любви,
И все прекрасное святее!»

А я, я слез не проливал,
Волшебным голосом плененный,
Я только помню, что видал
Певицы образ несравненный.

О, помню, я, каким огнем
Сияли очи голубые,
Как на челе ее младом
Вилися кудри золотые!

И помню звук ее речей,
Как помнят чувство дорогое:
Он слышится в душе моей, —
В нем было что-то неземное

Она, она передо мной,
Когда таинственная лира
Звучит о Пери молодой
Долины светлой Кашемира.

Звезда любви над ней горит,
И — стан обхвачен пеленою —
Она, эфирная, летит,
Чуть озаренная луною,

Из лилий с розами венок
Небрежно волосы венчает,
И локоны ее взвевает
Душистой ночи ветерок.

РАЗБОЙНИК

Баллада

(А. А. ВОЕЙКОВОЙ)

Мила Брайнгельских тень лесов;
Мил светлый ток реки;
И в поле много здесь цветов
Прекрасным на венки.

Туманный дол сребрит луна;
Меня конь борзый мчит:
В Дальтонской башне у окна
Прекрасная сидит.

Она поет: «Брайнгельских вод
Мне мил приветный шум;
Там пышно луг весной цветет,
Там рощи полны дум.

Хочу любить я в тишине,
Не царский сан носить;
Там на реке милее мне
В лесу с Эдвином жить».

Когда ты, девица-краса,
Покинув за́мок свой,

Готова в темные леса
   Бежать одна со мной:

Ты прежде, радость, угадай,
   Как мы в лесах живем;
Каков, узнай, тот дикий край,
   Где мы любовь найдем!

Она поет: «Брайнгельских вод
   Мне мил приветный шум;
Там пышно луг весной цветет,
   Там рощи полны дум.

Хочу любить я в тишине
   Не царский сан носить;
Там на реке милее мне
   В лесу с Эдвином жить.

Я вижу борзого коня
   Под смелым ездоком:
Ты царский ловчий, — у тебя
   Рог звонкий за седлом».

Нет, прелесть! Ловчий в рог трубит
   Румяною зарей,
А мой рожок беду звучит,
   И то во тьме ночной.

Она поет: «Брайнгельских вод
   Мне мил приветный шум;
Там пышно луг весной цветет,
   Там рощи полны дум;

Хочу в привольной тишине
   Тебя, мой друг, любить;

Там на реке отрадно мне
  В лесу с Эдвином жить.

Я вижу, путник молодой,
  Ты с саблей и ружьем:
Быть может, ты драгун лихой
  И скачешь за полком».

Нет, гром литавр и трубный глас
  К чему среди степей?
Украдкой мы в полночный час
  Садимся на коней.

Приветен шум Брайнгельских вод
  В зеленых берегах,
И мил в них месяца восход,
  Душистый луг в цветах;

Но вряд прекрасной не тужить!
  Когда придется ей
В глуши лесной безвестно жить
  Подругою моей!

Там чудно, чудно я живу, —
  Так видно рок велел;
И смертью чудной я умру,
  И мрачен мой удел.

Не страшен так лукавый сам
  Когда пред черным днем
Он бродит в поле по ночам
  С блестящим фонарем;

И мы в разъездах удалых,
  Друзья неверной тьмы,

Уже не помним дней былых
Невинной тишины.

Мила Брайнгельских тень лесов;
Мил светлый ток реки;
И много здесь в лугах цветов
Прекрасным на венки.

СОН РАТНИКА

Подкопы взорваны — и башни вековые
С их дерзкою луной погибель облегла;
Пресекла в ужасе удары боевые
   Осенней ночи мгла.

И в поле тишина меж русскими полками;
У ружий сомкнутых дымилися костры,
Во тьме бросая блеск багровыми струями
   На белые шатры.

В раздумьи я смотрел на пламень
                                        красноватый;
Мне раненых вдали был слышен тяжкий
                                        стон;
Но, битвой утомясь, под буркою косматой
   Уснул, — и вижу сон.

Мне снилось, что, простясь с военною
                                        тревогой,
От тех кровавых мест, где буйство протекло,
Поспешно я иду знакомою дорогой
   В родимое село.

Мне церковь сельская видна с горы высокой,
И Клязьмы светлый ток в тени ракит густых,

И слышу песнь жнецов, и в стаде лай
далекий
Собак сторожевых.

Я к хижине сходил холмов с крутого ската,
Разлуки тайный страх надеждой веселя, —
И дряхлый мой отец, тотчас узнав солдата,
Вскочил без костыля.

В слезах моя жена мне кинулась на шею,
Мила, как в день венца, и сердцу, и очам;
Малютки резвые бегут ко мне за нею:
Сосед пришел к друзьям.

«Клянусь, — я говорил, склонен на то
родными, —
Теперь я к вам пришел на долгое житье!»
И дети обвили цветками полевыми
И штык мой, и ружье.

Я милых обнимал... но пушка вестовая
Сон тихий прервала, и в сечу мне лететь!
И к Варне понеслась дружина удалая...
Иль там мне умереть?

ОБВОРОЖЕНИЕ

(КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ)

Ночь. Манфред один. Тень, в виде молодой прекрасной женщины, поет:

Когда луна сребрит поток,
И червь, светясь, в траве трепещет,
И на кладбище огонек,
А влажный пар в болотах блещет;
Когда вой сов тревожит лес,
И звезды падают с небес,
И ветерок в унылой тьме
Меж листьев дремлет на холме, —
В тот час и с властью, и с клеймом
На сердце лягу я твоем.

Сон крепкий очи и сомкнет,
Но дух твой смутный не уснет.
Есть тени — им не исчезать;
Есть думы — их не отогнать.
В твоей написано судьбе,
Чтоб одному не быть тебе.
Как бы одет в туман густой,
Как обвит в саван гробовой,
Так будешь жить обворожен,
Безвестной власти покорен.

Хоть невидимкой буду я,
Твой взор почувствует меня,
Как то, что прежнею порой
И было, и опять с тобой;
И, в тайном ужасе твоем,
Когда посмотришь ты кругом; —
Ты удивишься, что уж я
Пропала, как и тень твоя;
И будешь ты от всех таить,
Под чьею властью должен жить.

Волшебным словом ты клеймен,
В купель проклятья погружен;
Эфирный дух тебя схватил,
Тебя он сетью окружил.
И голос есть у ветерка,
И веет с ним к тебе тоска;
Спокойной ночи тишина
Тебе в отраду не дана,
А днем есть солнце над тобой,
Еще страшнее тьмы ночной.

Из слез твоих мной извлечен
Сок страшный — смерть вливает он;
В нем та кровь черная твоя,
Что в черном сердце у тебя;
С улыбки сорвана твоей
Змея, клубящаяся в ней;
И чары взяты с уст твоих, —
Отрава вся таилась в них.
Теперь на деле видно мне,
Что яд сильнейший был в тебе.

За мрачный дух твоих коварств,
За бездны тайные лукавств,
За кротость ложную очей,
Змею-улыбку, яд речей,
За дар твой дивный убедить,
Что с сердцем ты, что мог любить,
За твой к чужим страданьям хлад,
За то, что Каину ты брат, —
Ты властью обречен моей
Носить твой ад в душе твоей.

Фиал в руках, — уже я лью
Проклятье на главу твою:
И ты покоя не найдешь,
И не уснешь, и не умрешь,
И смерти будешь ты желать,
Страшась всечасно умирать;
Но вот уж ты обворожен,
Незвучной цепью окружен;
И сердцем и умом страдай.
Свершились чары. Увядай!

РОМАНС

Есть тихая роща у быстрых ключей;
И днем там, и ночью поет соловей;
Там светлые воды приветно текут,
Там алые розы, красуясь, цветут.
В ту пору, как младость манила мечтать,
В той роще любила я часто гулять;
Любуясь цветами под тенью густой,
Я слышала песни — и млела душой.

Той рощи зеленой мне век не забыть!
Места наслажденья, как вас не любить!
Но с летом уж скоро и радость пройдет,
И душу невольно раздумье берет:
«Ах! в роще зеленой, у быстрых ключей,
Все так ли, как прежде, поет соловей?
И алые розы осенней порой
Цветут ли все так же над светлой струей?»

Нет: розы увяли, мутнее струя,
И в роще не слышно теперь соловья!
Когда же, красуясь, там розы цвели,
Их часто срывали, венками плели.
Блеск нежных листочков хотя помрачен,
В росе ароматной их дух сохранен,

И воздух свежился душистой росой;
Весна миновала — а веет весной.

Так памятью можно в минувшем на-
жить
И чувств упоенья в душе сохранить;
Так веет отрадно и поздней порой
Бывалая прелесть любви молодой!
Не вовсе же радости время возьмет:
Пусть младость увянет, но сердце цветет.
И сладко мне помнить, как пел соловей,
И розы, и рощу у быстрых ключей.

ПЛЕННЫЙ ГРЕК В ТЕМНИЦЕ

Родина святая,
  Край прелестный мой!
Все тобой мечтая,
Рвусь к тебе душой.
Но, увы, в неволе
Держат здесь меня,
И на ратном поле
Не сражаюсь я!

  День и ночь терзался
Я судьбой твоей,
В сердце отдавался
Звук твоих цепей.
Можно ль однородным
Братьев позабыть?
Ах, иль быть свободным,
Иль совсем не быть!

  И с друзьями смело
Гибельной грозой
За святое дело
Мы помчались в бой.
Но, увы, в неволе
Держат здесь меня,
И на ратном поле
Не сражаюсь я!

И в плену не знаю,
Как война горит;
Вести ожидаю —
Мимо весть летит.
Слух убийств несется,
Страшной мести след;
Кровь родная льется, —
А меня там нет!

Ах, средь бури зреет
Плод, свобода, твой!
День твой ясный рдеет,
Пламенной зарей!
Узник неизвестный,
Пусть страдаю я, —
Лишь бы, край прелестный,
Вольным знать тебя!

ИРЛАНДСКАЯ МЕЛОДИЯ

Когда пробьет печальный час
Полночной тишины,
И звезды трепетно горят,
Туман кругом луны:

Тогда, задумчив и один,
Спешу я к роще той,
Где, милый друг, бывало, мы
Бродили в тьме ночной.

О, если в тайной доле их
Возможность есть душам
Слетать из-за далеких звезд
К тоскующим друзьям, —

К знакомой роще ты слетишь
В полночной тишине,
И дашь мне весть, что в небесах
Ты помнишь обо мне!

И, думой сердца увлечен,
Ту песню я пою,
Которой, друг, пленяла ты
Мечтательность мою.

Унылый голос ветерок
    Разносит в чуткой тьме,
В поляне веет, и назад
    Несет его ко мне.

А я... я верю... томный звук
    От родины святой
На песнь любимую ответ
    Души твоей младой.

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

(т. с. вдмрв—ой)

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!

Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон, —
Не слышен им вечерний звон.

Лежать и мне в земле сырой!
Напев унылый надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!

К ПОЛЕВОЙ МАРГАРИТКЕ,
которую Роберт Борнс, обрабатывая свое поле, нечаянно срезал железом сохи в апреле 1786.

Цветок пунцовый, полевой!
Ты, бедный, встретился со мной
Не в добрый час: тебя в красе
Подрезал я.
Жемчуг долин, не можно мне
Спасти тебя!

Не пестрый, резвый мотылек
Теперь твой нежный стебелек
На дерн, увлаженный росой,
Порхая, гнет;
К тебе румяною зарей
Он не прильнет.

В холодном поле ветр шумел,
И дождик лил, и гром гремел;
Но туча мрачная прошла, —
Меж тем в глуши
Ты нежно, тихо расцвела,
Цветок любви.

Сады дают цветам своим
Приют и тень — и любо им;

Но сироту, красу полян,
Кто сбережет?
От зноя туча иль курган
От непогод?

Из-под травы едва видна,
Цвела ты прелести полна,
И солнца луч с тобой играл;
Но тайный рок
Железо острое наслал —
Погиб цветок...

Таков удел, Мальвина, твой,
Когда невинною душой
Ты ловишь нежные мечты;
Любовь страшна:
Как мой цветок, увянешь ты
В тоске, одна.

Певцу удел такой же дан:
Бушует жизни океан,
Не видно звезд, а он плывет, —
Надежда мчит;
Он прост душой, он счастья ждет...
Челнок разбит.

И добрый, злыми утеснён,
Тому ж уделу обречен:
Никто ничем не упрекнет, —
А жил в слезах;
Приюта нет; он отдохнет...
На небесах!

И я горюю о цветке;
А, может быть, невдалеке
Мой черный день; и как узнать,
Что бог велел?
Не о себе ли горевать
И мой удел?..

СОН

(ГРАФИНЕ ФИКЕЛЬМОН)

A change came o'er the spirit
of my dream

L. Byron

В мое окно стучал мороз полночный,
И ветер выл; а я пред камельком,
Забыв давно покоя час урочный,
Сидел, согрет приветным огоньком.
Я полон был глубоких впечатлений,
Их мрачностью волнующих сердца;
Стеснялся дух мечтаньями певца
Подземных тайн и горестных видений:
Я обмирал, но с ним стремил мой взгляд
Сквозь тьму веков на безнадежный ад.
В томленьи чувств на лоне поздней ночи
Внезапно сон сомкнул усталы очи;
Но те мечты проникли душу мне, —
Ужасное мерещилось во сне.
И с Дантом я бродил в стране мученья,
Сменялися одно другим явленья:
Там плач и вопль летят в унылый слух,
Мне жжет глаза, мелькая, злобный дух,
И в зареве греховной, душной сени
Предстали мне страдальческие тени.

То вижу я, испуган чудным сном,
Как Фаринат, горя в гробу своем,
Приподнялся, бросая взор кичливый
На ужас мук. Мятежник горделивый!
Его крушит не гроб его в огне, —
Крушит позор в родимой стороне.
То новый страх — невольно дыбом волос—
Я вижу кровь, я слышу муки голос,
Преступник сам стеснен холодной мглой:
Терзаемый и гневом и тоской,
Вот Уголин злодея череп гложет:
Но смерть детей отец забыть не может, —
Клянет и мстит, а сердцем слышит он,
Не вопль врага — своих младенцев стон.

И вихрь шумит, как бездна в бурном
море,
И тени мчит, — и вихорь роковой
Сливает в гул их ропот: «горе, горе!»
И все крушит, стремясь во мгле сырой.
В слезах чета прекрасная, младая
Несется с ним, друг друга обнимая:
Погибло все — и юность, и краса,
Утрачены Франческой небеса!
И смерть дана — я знаю чьей рукою, —
И вижу я, твой милый друг с тобою!
Но где и как, скажи, узнала ты
Любви младой тревожные мечты?
И был ответ: «О, нет мученья боле,
Как вспоминать дни счастья в тяжкой доле!
Без тайных дум, в привольной тишине,
Случилось нам читать наедине,
Как Ланцелот томился страстью нежной.

Бледнели мы, встречался взгляд мятежной,
Сердца увлек пленительный рассказ;
Но, ах, одно, одно сгубило нас!
Как мы прочли, когда любовник страстный
Прелестные уста поцеловал,
Тогда и он, товарищ мой несчастный,
Но мой навек, к груди меня прижал, —
И на моих его уста дрожали, —
И мы тот день уж боле не читали».

И снится мне другой чудесный сон:
Светлеет мрак, замолкли вопль и стон,
И в за́мке я каком-то очутился.
Вокруг меня все блещет, все горит, —
И музыка веселая гремит,
И нежный хор красот младых резвился.
Я был прельщен; но все мечталось мне
То страшное, что видел в первом сне.
Франческа! я — грустил твоей тоскою.
Но что ж, и здесь ужели ты со мною,
И в виде том, как давнею порой
Являлась ты пред жадною толпой,
Не зная слез, цветя в земле родимой?
Вот образ твой и твой наряд любимой!
Но ты уж тень. Кого ж встречаю я?
Кто вдруг тобой предстала пред меня?
Свежее роз, прекрасна, как надежда,
С огнем любви в пленительных очах,
С улыбкою стыдливой на устах;
И черная из бархата одежда
С богатою узорной бахромой
Воздушный стан, рисуя, обнимает;
Цвет радуги на поясе играет,

И локоны, как бы гордясь собой
Бегут на грудь лилейную струями;
Их мягкий шелк унизан жемчугами,
Но грудь ее во блеске молодом
Пленяет взор не светлым жемчугом:
Небрежное из дымки покрывало
За плеча к ней, как белоснег, упало.
О, как она невинности полна!
Оживлено лицо ее душою
Сердечных дум, небесных чистотою...
Прелестна ты, прелестнее она.

И милому виденью я дивился,
Узнал тебя, узнал — и пробудился...
Мой страх исчез в забавах золотых
Страны небес огнистоголубых,
Где все цветет и, сердцу наслажденье,
Где все звучит бессмертных песнопенье.
О, как молил я пламенно творца,
Прекрасный друг безвестного певца,
Чтоб ты все дни утехами считала,
Чтоб и во сне туч грозных не видала!
Счастливой быть прелестная должна.
Будь жизнь твоя так радостна, нежна,
Как чувство то, с каким, тебя лаская,
Младенец-дочь смеется пред тобой,
Как поцелуй, который, с ней играя
Дает любовь невинности святой!

ПРОСТИ

ЭЛЕГИЯ ЛОРДА БАЙРОНА НА РАЗЛУЧЕНИЕ СУПРУГОВ

(ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО)

Была пора — они любили,
Но их злодеи разлучили;
А верность с правдой не в сердцах
Живут теперь, но в небесах,
Навек для них погибла радость:
Терниста жизнь, без цвета младость,
И мысль, что розно жизнь пройдет,
Безумства яд им в душу льет.
Но в жизни, им осиротелой,
Уже обоим не сыскать,
Чем можно б было опустелой
Души страданья услаждать;
Друг с другом розно, а тоскою
Сердечны язвы все хранят.
Так два, расторгнутых грозою,
Утеса мрачные стоят;
Их бездна с ревом разлучает,
И гром разит и потрясает, —
Но в них ни гром, ни вихрь, ни град,
Ни летний зной, ни зимний хлад
Следов того не истребили,
Чем некогда друг другу были.

Кольридж (Из поэмы: Кристабель)

Прости! и если так судьбою
Нам суждено, — навек прости!
Пусть ты безжалостна — с тобою
Вражды мне сердца не снести.

Не может быть, чтоб повстречала
Ты непреклонность чувства в том,
На чьей груди ты засыпала
Невозвратимо сладким сном!

Когда б ты в ней насквозь узрела
Все чувства сердца моего,
Тогда бы, верно, пожалела,
Что столько презрела его.

Пусть свет улыбкой одобряет
Теперь удар жестокий твой:
Тебя хвалой он обижает,
Чужою купленной бедой.

Пускай я, очернен виною,
Себя дал право обвинять;
Но для чего ж убит рукою,
Меня привыкшей обнимать?

И верь, о, верь! пыл страсти нежной
Лишь годы могут охлаждать;
Но вдруг — не в силах гнев мятежный
От сердца сердце оторвать.

Твое — то ж чувство сохраняет:
Удел же мой — страдать, любить! —
И мысль бессмертная терзает,
Что мы не будем вместе жить.

Печальный вопль над мертвецами
С той думой страшной как сравнять?—
Мы оба живы, но вдовцами
Уже нам день с тобой встречать.

И в час, как нашу дочь ласкаешь,
Любуясь лепетом речей,
Как об отце ей намекаешь, —
Ее отец в разлуке с ней.

Когда ж твой взор малютка ловит,
Ее целуя, вспомяни
О том, тебе кто счастья молит,
Кто рай нашел в твоей любви.

И если сходство в ней найдется
С отцом, покинутым тобой,
Твое вдруг сердце встрепенется,
И трепет сердца — будет мой.

Мои вины, быть может, знаешь, —
Мое безумство можно ль знать?
Надежды — ты же увлекаешь,
С тобой увядшие летят.

Ты потрясла моей душою;
Презревший свет, дух гордый мой
Тебе покорным был; с тобою
Расставшись, расстаюсь с душой!

Свершилось всё! слова напрасны,
И нет напрасней слов моих, —
Но в чувствах сердца мы не властны,
И нет преград стремленью их.

Прости ж, прости! Тебя лишенный, —
Всего, в чем думал счастье зреть,
Истлевший сердцем, сокрушенный,
Могу ль я больше умереть?

РОМАНС ДЕЗДЕМОНЫ

(с английского)

В раздумье бедняжка под тенью густою
Сидела, вздыхая, крушима тоскою:
 Вы пойте мне иву, зеленую иву!

Она свою руку на грудь положила
И голову тихо к коленам склонила:
 О ива, ты ива, зеленая ива!

Студеные волны шумя там бежали, —
И стон ее жалкой те волны роптали:
 О ива, ты ива, зеленая ива!

Горючие слезы катились ручьями,
И дикие камни смягчались слезами.
 О ива, ты ива, зеленая ива!

Зеленая ива мне будет венком!

БЕВЕРЛЕЙ

ШОТЛАНДСКАЯ БАЛЛАДА ИЗ ВАЛЬТЕРА СКОТТА
(ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ)

С младым Беверлеем кто равен красой?
Стрелою несется с ним конь вороной,
Он скачет бесстрашно, он скачет один,
С ним только меч острый — надежда дружин;
В любви всех вернее, а в битвах смелей,
Меж витязей славен младой Беверлей.

В лесу нет преграды, утес не высок,
Бушует ли буря — он вплавь чрез поток;
Но в Нетерби витязь на горе скакал:
Невеста склонилась — жених опоздал!
Соперник бездушный с Матильдой твоей
Идет уж венчаться, младой Беверлей!

Он в замке, он видит: пирует семья,
Шумят, веселятся родные, друзья;
Жених торопливый, бледнея, молчит.
За меч ухватяся, отец говорит:
«У нас ты на свадьбе как друг иль злодей?
На брань иль на танцы, младой Беверлей?»

«От вас мне награда в любви не дана;
Любовь рекой льется, кипит, как волна:
Мила мне Матильда, — но с вами равно
Готов я на танцы, готов на вино:
Есть много пригожих: невесту нежней,
Быть может, достанет младой Беверлей». —

Бокал с поцелуем у девы он взял,
Вино выпил разом — и бросил бокал.
Невеста вздохнула, огонь на щеках,
Улыбки искала, а слезы в очах;
И мать хоть сердилась, —взяв руку у ней,
Ведет ее в танцы младой Беверлей.

И все любовались прелестной четой,
Его ловким станом, ее красотой;
Родные же смотрят с досадой на них,
С пером своей шляпы играет жених;
И шепчут подруги: о, если бы ей
Прекрасной — был мужем младой Беверлей!

Он жмет ее руку, он что-то сказал, —
И вдруг оба вышли, а конь поджидал.
Проворно он с нею вскочил на коня:
«Теперь не догонят злодеи меня!
Матильда, друг милый, навек ты моей!» —
И вихрем помчался младой Беверлей.

В погоню гналися по рвам, по холмам,
И Мюсгрев, и Форстер, и Фенвик, и Грамм:
Скакали, искали вблизи и вдали —

Пропадшей невесты нигде не нашли.
В любви всех вернее, а в битвах смелей, —
Таков был отважный младой Беверлей!

ОБМАНУТОЕ СЕРДЦЕ

О ты ночь моя, ноченька,
Ночь ты лунная, ночь морозная,
Как тревожишь ты сердце томное,
Сердце томное — безнадежное!

Страшно мне: мой уголок
Как могила вкруг чернеет;
Разведу я огонек —
Дуб трещит и пламенеет,
Свет багровый на стенах
Чудно зыблется в очах,
И дохнуть не смею я, —
Тени бродят вкруг меня.

О, зачем я рождена
Вянуть бедной сиротою;
Жизнь моя отравлена
Неотступною тоскою;
Светлый призрак в тяжком сне
На беду являлся мне;
Даль мою затмил туман —
Сердцу был во всем обман.

На заре весны моей
Голубка я приучила;

Он был друг невинных дней.
О, как я его любила!
Снегом белым он сиял,
Томно, нежно ворковал;
Но, как легкий ветерок,
Улетел мой голубок.

В бедном садике моем
Рдела роза полевая.
Любовалась я цветком;
Часто, горе забывая,
К розе с свежею волной
Я бежала в летний зной.
Туча бурная нашла —
Розу молния сожгла.

Был друг милый у меня!..
Ночь, ты знаешь, ты видала,
Как в пылу безумном я
Друга к сердцу прижимала;
Вспомни: он твоей луной
Мне клялся, что будет мой. —
Но тень бродит... страшно мне!
Не душней в могильном сне.

О ты, ночь моя, ноченька,
Ночь ты лунная, ночь морозная,
Как тревожишь ты сердце томное,
Сердце томное, — безнадежное!

БАЙРОН

(А. С. ПУШКИНУ)

But I have and have not lived in vain.

Среди Альбиона туманных холмов,
В долине, тиши обреченной,
В наследственном замке, под тенью дубов,
Певец возрастал вдохновенной.
И царская кровь в вдохновенном текла [1]
И золота много судьбина дала;
Но юноша гордый, прелестный, —
Высокого стана светлее душой,
Казну его знают вдова с сиротой,
И звон его арфы — чудесный.

И в бурных порывах всех чувств молодых
Всегда вольнолюбье дышало,
И острое пламя страстей роковых
В душе горделивой пылало.
Встревожен дух юный; без горя печаль
За призраком тайным влечет его в даль —
И волны под ним зашумели!

---

[1] Лорд Байрон происходит от царей: шотландский король Иаков II был предок его по матери.

Он арфу хватает дрожащей рукой,
Он жмет ее к сердцу с угрюмой тоской:
Таинственно струны звенели.

Скитался он долго в Восточных краях
И чудную славил Природу;
Под радостным небом в душистых лесах
Он пел угнетенных свободу;
Страданий любви исступленной певец,
Он высказал сердцу все тайны сердец,
Все буйных страстей упоенья;
То радугой блещет, то в мраке ночном
Сзывает он тени волшебным жезлом —
И грозно-прелестны виденья.

И время задумчиво в песнях текло;
И дивные песни венчали
Лучами бессмертья младое чело, —
Но мрака с лица не согнали.
Уныло он смотрит на свет и людей;
Он бурно жизнь отжил весною своей,
Надеждам он верить страшится;
Дум тяжких, глубоких в нем видны черты;
Кипучая бездна огня и мечты —
Душа его с горем дружится.

Но розы нежнее, свежее лилей
Мальвины красы молодые,
Пленительны взоры сапфирных очей
И кудри ее золотые;
Певец, изумленный, к ней сердцем летит,
Любви непорочной звезда им горит, —

Увядшей расцвел он душою;
Но злоба шипела, дышала бедой, —
И мгла, как ужасный покров гробовой,
Простерлась над юной четою.

Так светлые воды красуясь текут
И ясность небес отражают;
Но, встретя каменья, мутятся, ревут,
И шумно свой ток разделяют.
Певец раздражился, но мстить не хотел,
На рок непреклонный с презреньем
смотрел;
Но в горести дикой, надменной
И в бешенстве страсти, в безумье любви,
Мученьем, отрадой ему на земли —
Лишь образ ее незабвенный!

И снова он мчится по грозным волнам;
Он бросил магнит путеводный,
С убитой душой по лесам, по горам
Скитаясь, как странник безродный.
Он смотрит, он внемлет, как вихри
свистят,
Как молнии вьются, как громы гремят
И с гулом в горах умирают.
О вихри! о громы! скажите вы мне:
В какой же высокой, безвестной стране
Душевные бури стихают?

С полночной луною беседует он,
Минувшее горестно будит;
Желаньем взволнован, тоской угнетен,
Клянет, и прощает, и любит.

«Безумцы искали меня погубить, —
Все мысли, все чувства мои очернить;
Надежду, любовь отравили,
И ту, кто была мне небесной мечтой
И радостью сердца и жизни душой, —
Неправдой со мной разлучили.

И дочь не играла на сердце родном!
И очи ее лишь узрели...
О, спи за морями, спи ангельским сном
В далекой твоей колыбели!
Сердитые волны меж нами ревут, —
Но стон и молитвы отца донесут...
Свершится... из ранней могилы
Мой пепел поднимет свой глас неземной,
И с вечной любовью над ней, над тобой
Промчится мой призрак унылый!»

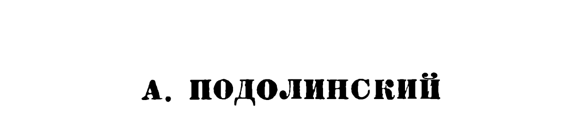
Страдалец, утешься! — быть может, в
ту ночь,
Как грозная буря шумела,
Над той колыбелью, где спит твоя дочь,
Мальвина в раздумье сидела;
Быть может, лампады при бледных лучах,
Знакомого образа в милых чертах
Искала с тоскою мятежной, —
И, сходство заметя любимое в ней,
Мальвина, вздыхая, младенца нежней
Прижала к груди белоснежной!

Но брань за свободу, за веру, за честь
В Элладе его пламенеет,
И слава воскресла, и вспыхнула месть, —

Кровавое зарево рдеет.
Он первый на звуки свободных мечей
С казною и ратью и арфой своей
Летит довершать избавленье,
Он там, он поддержит в борьбе роковой
Великое дело великой душой —
Святое Эллады спасенье.

И меч обнажился, и арфа звучит,
Пророчица дивной свободы;
И пламень священный ярчее горит,
Дружнее разят воеводы.
О край песнопенья и доблестных дел,
Мужей н сравненных заветный предел —
Эллада! Он в час твой кровавый
Сливает свой жребий с твоею судьбой!
Сияющий гений горит над тобой —
Звездой возрожденья и славы.

Он там!.. он спасает!.. и смерть над певцом!
И в блеске увянет цвет юный!
И дел он прекрасных не будет творцом,
И смолкли чудесные струны!
И плач на Востоке... и весть пронеслась,
Что даже в последний таинственный час
Страдальцу былое мечталось:
Что будто он видит родную страну,
И сердце искало и дочь, и жену, —
И в небе с земным не расталось!



А. ПОДОЛИНСКИЙ



1

1 июля 1806 г. у небогатого помещика Киевской губернии титулярного советника Ивана Наумовича Подолинского родился сын Андрей. Он родился в Киеве, где отец его служил председателем губернской палаты уголовного суда. Имение Ивана Наумовича «Ярославка» находилось в Звенигородском уезде, на границе соседней Херсонской губернии. Частью в этом имении, частью в Киеве прошли детские годы Андрея Подолинского. На двенадцатом году жизни мальчик был отдан в Киевский частный немецкий пансион.

О владельце и руководителе пансиона немце Графе Подолинский до конца жизни вспоминал с глубоким уважением, отмечал «редкие достоинства» своего воспитателя и аттестовал его пансион как «отлично веденный». Из преподавателей пансиона наибольшее влияние на мальчика, тогда уже обнаружившего литературные способности, оказал учитель русского языка и словесности Фурман, по словам самого Подолинского, «возбудивший в нем любовь к поэзии». Ко времени пребывания

в пансионе Графа относятся первые поэтические опыты Подолинского.

Образование Подолинского завершилось в Петербурге в Университетском Пансионе. Этот пансион, куда Подолинский поступил 7 мая 1821 г., именовался Благородным пансионом и находился при Петербургском университете. В отличие от университета учебная программа пансиона преследовала «не столько научные цели, сколько удовлетворение практических и вместе сословных интересов». Иначе говоря, пансион готовил кадры чиновников из детей дворянского сословия. Воспитанники, успешно окончившие пансион, выходили из него с чином X класса. Этот же гражданский чин давало и окончание университета.

В годы пребывания там Подолинского Благородный Пансион находился в состоянии полного развала. Поступивший в пансион через год после окончания его Подолинским И. И. Панаев следующим образом характеризовал постановку учебного дела в этом заведении: «Рутинное, пошлое преподавание по самым жалким курсам, — писал он, — не могло не только заохотить нас к учению, но просто отвращало нас от этой мертвой науки и мы принуждали себя учиться только для того, чтобы получить известный класс».

Надо думать, что Благородный Пансион в отношении дальнейшего развития и рас-

ширения общего кругозора знаний дал Подолинскому немного. Однако, среди преподавателей пансиона был один, В. И. Кречетов, которому Подолинский был обязан многим. Кречетов преподавал русский язык и словесность и, по словам того же Панаева, пользовался любовью и уважением воспитанников за свой «смелый и свободный образ мыслей». «Смелость и свободный образ мыслей его, — поясняет Панаев, — заключались в том, что он открыто и прямо называл Пушкина великим поэтом и даже приносил нам его новые стихотворения, перечитывая их и разбирая их красоты. Тогда это была действительная смелость, потому что даже имя Пушкина, как безнравственного и либерального писателя, нельзя было произносить в учебных заведениях». Кречетов знакомил своих слушателей и с другими лучшими образцами литературы того времени, читал и разбирал на занятиях стихи Дельвига, Боратынского и Языкова. При этом Кречетов, по словам Панаева, «подсмеивался над всеми пиитиками и риториками и говорил, что он только по необходимости преподает нам все эти пошлости».

Таким образом, слушая лекции Кречетова, Подолинский имел возможность закрепить и углубить свое литературное образование, начало которого было положено его киевским учителем Фурманом. К концу учебного курса Подолинский был

на уровне передовой литературной культуры своего времени, что для него, как поэта, было немаловажным обстоятельством. Этим он был обязан Кречетову. Кречетов же ввел Подолинского в литературу, издав его поэму «Див и Пери». Но это произошло позднее. За время же пребывания в пансионе Подолинский, по его собственным словам, написал две-три повести в стихах и несколько мелких стихотворений. «Но я умел, — свидетельствует Подолинский, — сознавать их незрелость и не только не осмеливался думать о печати, но даже старался скрывать их от большинства товарищей».

Окончив Университетский пансион в 1824 г. с высшей наградой, т. е. с чином X класса, Подолинский в том же году определился на службу в должности секретаря при директоре почтового департамента. Перед тем как приступить к своим служебным обязанностям, Подолинский в связи с окончанием учебного курса получил кратковременный отпуск и провел его у себя на родине в Киевской губернии. По дороге в Киев на постоялом дворе в Чернигове Подолинский встретился с Пушкиным, следовавшим из Одессы в Михайловское. Об этой встрече Подолинский в своих воспоминаниях писал: «Слава Пушкина светила тогда в полном блеске, вся молодежь благоговела перед этим именем, и легко можно себе представить

как я, семнадцатилетний школьник, был обрадован неожиданною встречею... Он просил меня передать в Киеве записку генералу Раевскому, тут же им написанную». Эту встречу не следует однако считать началом знакомства Подолинского с Пушкиным. Пушкин забыл о ней, и по-настоящему поэты познакомились позднее.

В 1827 г. Подолинский впервые выступил в печати с поэмой «Див и Пери». Выход «Див и Пери» явился крупным событием в жизни Подолинского. Поэма дотоле никому неизвестного автора обратила на себя всеобщее внимание и стяжала Подолинскому широкую известность. «Можно полагать наверное, — писал один из наиболее авторитетных критиков того времени, Н. А. Полевой, — что поэма «Див и Пери» есть первый опыт г-на Подолинского. Если так, поздравим поэта с началом прекрасным, как заря весеннего дня. Г-н Подолинский начал смелым подвигом и показывает нам в поэме своей дарование могущественное». С мнением Полевого солидаризировались и другие критики. Не только критики, но и некоторые известные поэты того времени признали дарования молодого автора «Див и Пери» и заинтересовались им.

Прочитав «Див и Пери», поэт-декабрист Ф. Н. Глинка писал из Петрозаводска одному из своих петербургских друзей: «По стихам я очень полюбил стихотворца

Подолинского, познакомьте меня с ним заочно».

Так из мелкого безвестного чиновника почтового департамента Подолинский сразу превратился в многообещающего молодого автора и привлек к себе широкое внимание литературных кругов. С этого времени стихотворения Подолинского начинают пачками появляться в журналах и главным образом альманахах. Так в одном только «Альманахе Северных муз» на 1828 г. было напечатано восемь его стихотворений. На протяжении ближайших следующих лет редкий альманах выходил без стихов Подолинского. Большинство из этих произведений было написано уже к моменту выхода «Див и Пери». Обилие стихотворений Подолинского, появившихся непосредственно вслед за «Див и Пери», закрепило известность, доставленную ему этой поэмой, и свидетельствовало в глазах критиков и читателей о силе его дарования. В это же время Подолинский начинает бывать на литературных собраниях Дельвига, встречается у него с Пушкиным, Мицкевичем, Сомовым и другими литераторами, художниками и музыкантами его круга. О вечерах Дельвига и собиравшемся на них обществе рассказывает в своих воспоминаниях приятельница Пушкина А. П. Керн. «В эту зиму (1827 — 1828) Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские

товарищи его: Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовской и Илличевский. Кроме этих приходили на вечера Подолинский, Щастный, — молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг как патриарх... На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич... Многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так например Щастный читал нам своего «Фирса» (перевод из Мицкевича) и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский и многими его стихами восхищался Пушкин. Особенно нравилось ему следующее:

'Портрет

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она
Я мыслю: гурия пророка
С небес на землю сведена...
и т. д.»

Сам Подолинский в своих «Воспоминаниях» писал: «Небольшое, собиравшееся у барона (Дельвига) общество мне вообще нравилось и в особенности в нем приятны были нередкие встречи с Пушкиным и Мицкевичем, доставившие мне возможность несколько ближе с ними сойтись».

В конце 1829 и в начале 1830 г., в период возникновения «Литературной Газеты»

Дельвига, Подолинский был в числе сотрудников издания.

2

Успех, выпавший на долю Подолинского в связи с выходом «Див и Пери», был успехом начинающего поэта, блестяще справившегося с задачами и трудностями весьма популярного в то время жанра романтической поэмы в «восточном роде». Одной из отличительных черт этого жанра были обязательные и обильные описания первобытной экзотической природы юго-восточных стран. В русской поэзии начало этому жанру было положено так называемыми южными поэмами Пушкина, следовавшего в них по пути восточных поэм Байрона. Первая из южных поэм Пушкина «Кавказский пленник» появилась в 1822 г. В 1824 г., в связи с появлением следующей поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан», проблема романтической поэмы встала в центре литературной борьбы того времени, борьбы классиков и романтиков. В 1827 г., когда появилась поэма Подолинского «Див и Пери», вышла последняя южная поэма Пушкина «Цыгане». К этому времени проблема романтической поэмы в основном была уже решена. Романтическая поэма в «восточном роде» стала определившимся и отстоявшимся жанром. В последующие годы эта поэма становится

уделом преимущественно третьестепенных поэтов, эпигонов Пушкина, наводнивших русскую поэзию конца 20-х — начала 30-х годов многочисленными подражаниями Пушкину — Байрону.

Открывая по времени своего появления цепь этих подражаний, «Див и Пери» занимает среди них особое место. Сохраняя все характерные черты русской романтической поэмы, она является единственной в практике русской романтической поэмы 20-х годов попыткой отхода от стандартной байроновской тематики, попыткой подражания другому английскому романтику, современнику Байрона, Томасу Муру.

В те годы Томас Мур был известен в России главным образом по переводам В. А. Жуковского и И. И. Козлова. Восточная поэма Т. Мура «Лалла Рук» (1817 г.), послужившая образцом для поэмы Подолинского (см. примечание к «Див и Пери»), была известна русскому читателю по многочисленным отрывкам из нее, переведенным стихами и прозою и появившимся в разных журналах на протяжении 20-х годов. Из этих переводов наибольшей известностью пользовался перевод Жуковского «Ангел и Пери» (1821). Но все это были только переводы. Опытов же создания самостоятельных произведений в духе Мура до Подолинского в России не было. Это обстоятельство в сильной степени спо-

собствовало успеху «Див и Пери». Поэма вносила новое в тематику русской романтической поэмы, что и было отмечено критикой. «На русском языке, — писал Полевой, разбирая «Див и Пери», — еще не было поэм в этом роде». Так же необычен был и стихотворный размер «Див и Пери» — четырехстопный хорей в отличие от четырехстопного ямба, характерного для русской романтической поэмы.

Эти особенности «Див и Пери», написанной к тому же весьма гладкими, мелодичными и правильными стихами, свидетельствовали в глазах критики о силе и самостоятельности поэтического дарования Подолинского.

Между тем в отклонении Подолинского от традиционной тематики русской романтической поэмы и в обращении к Муру следует видеть не столько принципиальное новаторство, сколько влияние Жуковского.

Из всех русских поэтов Жуковский имел для Подолинского наибольшее значение. С поэзией Жуковского Подолинский познакомился еще двенадцатилетним мальчиком в киевском пансионе Графа.

Горячим поклонником Жуковского был учитель Подолинского по Благородному пансиону Кречетов.

Характерным свидетельством большого влияния, оказанного Жуковским на моло-

дого Подолинского, служит его повесть «Змей, Киевская быль», написанная в 1827 г., но увидевшая свет только в 1886 году. Повесть написана на материале народного украинского быта. В основу повествования положено якобы действительно имевшее место происшествие — появление в Киеве огненного змея, оказавшегося в действительности гулякой-ткачом, пугавшим мать и жениха любимой им девушки с целью добиться брака с нею. Повесть осталась незаконченной. Пропуски между отдельными стихотворными отрывками дополнены прозаическим изложением событий.

Вещь была задумана Подолинским в плане преодоления балладной фантастики Жуковского. Этому вопросу было посвящено специальное введение к повести:

Творец мечтательной Светланы, [1]
Кем создан мрачный Громобой, [1]
Кем был воспет и плач Минваны,
И древней Греции герой, [2]
В часы вечерних вдохновений
Водил Харитам на показ
Бесов и ведьм и привидений
Всю эту сволочь на Парнас;
И там нечистых сил проказы
В балладах звучных рассказал,
А после нам он передал
Все эти чудные рассказы...

---

[1] Светлана и Громобой — персонажи из одноименных баллад Жуковского.

[2] Имеются в виду произведения Жуковского: «Эолова арфа» и «Ахилл».

В глухие ночи их не раз
Украдкой девицы читали,
И с книги свесть не смея глаз
За каждой строчкой трепетали...
Чуть шаркнет мышь, чуть щелкнет дверь,
Душа замрет и грудь забьется;
Но слуху каждому не верь,
Давно пословица ведется.
Как все поэты, наш певец
Не угнетал воображенья,
И, в страстном пыле увлеченья,
Безбожно лгал он наконец.
В рассказе были я не мог
Такому следовать примеру,
И в истину питая веру,
Я как историк буду строг.

Несмотря на это демонстративное отталкивание от Жуковского, Подолинский не смог в своем «Змее» преодолеть черты, характерные именно для баллад Жуковского. Объяснение в конце таинственного явления огненного змея как простой плутни ткача не снимало с повести присущего ей в целом фантастического колорита. Заимствованный из народного украинского быта сюжет повести сближал ее с «народной» балладой Жуковского «Светлана» (1812). Влияние «Светланы» сказалось в прямых заимствованиях из нее. Вот например характерный в этом отношении отрывок из повести Подолинского — сон героини — весьма близко напоминающий сон Светланы Жуковского:

И вот Ульяна видит сон:
Она идет одна горою,
Кругом все пусто, небосклон
Завешен тучею густою.

Вдруг слышно пенье, тихий звон,
И ход протяжный похорон
Идет навстречу. Тускло блещет
Огонь кадил, огонь свечей...
Ульяна смотрит, страшно ей,
Как лист красавица трепещет.
Поставлен гроб, толпа людей
Кругом густеет и теснится
И все замолкнуло — но вот
На гробе крышка шевелится,
Трещит, вздымается, падет,
И Петр и бледный и печальный,
Одетый в саван погребальный,
Из гроба медленно встает;
Ульяна ахнула, упала,
Земля под нею задрожала...
и т. д.

Итак, ставя перед собой прямую цель преодоления Жуковского, Подолинский оказался во власти влияния Жуковского вплоть до прямых заимствований из него. Насколько неглубоко и неорганично для Подолинского было само желание преодолеть в «Змее» балладную фантастику Жуковского, свидетельствует позднее написанная «Девичь-Гора», уже без всяких претензий воспроизводящая «страшную» фантастику баллад Жуковского.

Близость Подолинского в «Див и Пери» к Т. Муру имела те же корни. Между Муром и Подолинским стоял перевод Жуковского, и он-то и послужил Подолинскому ближайшим образцом. Стихотворный размер «Див и Пери» восходит также к Жуковскому, к хореическому стиху его баллад («Адельстан», «Ахилл» и др.).

Об отсутствии в «Див и Пери» какого-либо принципиального новаторства со стороны Подолинского говорят и его дальнейшие опыты в области поэмы.

3

Ободренный успехом «Див и Пери», Подолинский выпустил в 1829 г. вторую поэму «Борский». В этой поэме Подолинский шел по пути традиционной, избитой, окрашенной в байронические тона тематики семейных драм с кровавой развязкой, тематики, введенной в русский оборот «Цыганами» Пушкина (законч. в 1824 г.). Между Пушкиным и Подолинским стояли написанные на ту же тему поэмы Козлова «Чернец» (1825) и Баратынского «Бал» (1828) и ряд забытых поэм малоизвестных третьестепенных поэтов тех лет. В облике главного героя этих «кровавых» романтических поэм помимо того сказывалось и сильное влияние «Евгения Онегина» Пушкина. «Борский» Подолинского был встречен критикой как прямое подражание Пушкину, Козлову и Баратынскому. Поэма поразила критику не только своей обнаженной подражательностью, но и доходящей до нелепости искусственностью, неправдоподобностью интриги. Однако учитывая молодость автора и находясь под впечатлением его первой поэмы, критика, осудив недостатки «Борского», не изменила

своего отношения к Подолинскому, попрежнему продолжая видеть в нем одну из лучших надежд русской поэзии.

Иное впечатление произвел «Борский» в кругу Пушкина, Дельвига и их литературных друзей. Мнение Пушкина о «Борском» известно из письма С. Шевырева к М. Погодину 1829 г.: «Пушкин говорит, — писал Шевырев, — Полевой от имени человечества благодарил Подолинского за «Див и Пери» — теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за «Борского». Дельвиг же в письме к Баратынскому, приравнивая «Борского» к «Выжигину»» Булгарина, писал: «Подолинскому говорить нечего. Он... принес мне «Борского» процензурованного и просил советов. Я посоветовал напечатать, другого ничего не оставалось делать... Разве лета его исправят».

Еще резче отозвался о Подолинском поэт и критик его поколения, один из виднейших представителей молодой литературной группировки, известной под именем любомудров, — Шевырев. Рассказывая Погодину о вечере, проведенном у Дельвига в феврале 1829 г., Шевырев писал: «Видел я Подолинского: он все молчал. Это мальчик вздутый здешними панегиристами и Полевым. Он либо еще ребенок, либо без цемента».

Неумеренные похвалы, расточаемые Подолинскому критикой, вызывали в кругу

Дельвига прямое раздражение. Было это вызвано тем, что враждебная романтической группировке Пушкина критика пыталась использовать Подолинского в полемических целях. Так известный враг романтизма Н. И. Надеждин, расточая всевозможные похвалы таланту Подолинского, приписывал неудачу «Борского» порочности самого жанра романтической поэмы. Резко осудив «Борского» и называя его «достойным спутником Евгениев» (намек на Евгения Онегина и подражания ему), Надеждин заканчивал свою рецензию следующим воззванием к Подолинскому: «Ах! г. Подолинский, г. Подолинский! Умоляем вас от лица всей русской литературы сохранить в вашем сердце сей священный огонь Весты, коим оно исполнено. Изберите себе только другую достойнейшую вас дорогу к святилищу муз! Дай бог, чтобы «Борский» был последним вашим шагом на распутьи лживого романтизма! И да увидит в вас русская поэзия не дополнение к толпе гаеров, тешащих по заказу литературную чернь, но истинного поэта, составляющего ее честь и украшение».

Еще более откровенно была направлена против возглавляемого Пушкиным романтического направления рецензия на «Борского», помещенная в журнале «Галатея». Автор рецензии провозглашал Подолинского, молодого начинающего поэта,

мастером слова, равным Жуковскому, Батюшкову, Пушкину: «Смело советуем, — писал критик, — молодым стихотворцам учиться поэтическому языку у г. Подолинского, как некоторые учились до сего времени у Жуковского, Батюшкова, Пушкина».

Все эти неумеренные похвалы Подолинскому, известным образом направленные на дискредитацию Пушкина и его группировки, побудили Дельвига резко выступить против Подолинского в «Литературной Газете». Поводом к тому послужила третья поэма Подолинского «Нищий». Поэма вышла в первых числах 1830 г. Она была еще менее самостоятельна, чем «Борский» Ее сюжет — убийство героем из ревности собственного брата и страдание преступника в долголетнем заключении — по единодушному мнению критики являлся прямым и неудачным подражанием «Шильонскому узнику» Жуковского — Байрона и «Чернецу» Козлова. Однако и на этот раз критика не развенчала Подолинского и вслед за Надеждиным адресовала свои упреки не столько к таланту автора, сколько к самому жанру романтической поэмы. В этом отношении характерен отзыв «Московского Вестника»: «Гораздо лучше, — писал рецензент, — сделал бы автор, если бы, послушавшись совета «Вестника Европы» (т. е. Надеждина, *Е. К.*), оставил эти страшные преступления на суд граждан-

ский и воспевал нам тихие нежные чувства, к чему он гораздо способнее; стихи его звучны, показывают знание языка, чувство...»

Против подобных панегириков Подолинскому и выступил Дельвиг в рецензии на «Нищего». Прежде чем приступить к разбору поэмы, Дельвиг поставил вопрос о «действительном размере и значении дарования Подолинского, «прославленного всеми журналами»».

Вспоминая впечатление, произведенное первой поэмой Подолинского, Дельвиг писал: «Поэма «Див и Пери», сама собою не образцовое произведение, сделалась драгоценною книжкою по надеждам кои подавал ее сочинитель. Удовольствие судей благомыслящих откликнулось в наших журналах, как едва слышное одобрение театральных знатоков подхватывается громкими плесками амфитеатра. Один московский журналист (Полевой) даже вызвался благодарить молодого поэта от лица человечества... Пожалеем, если неотчетливая похвала их (журналистов) имела вредное действие на молодой талант нашего поэта. Вторая поэма его «Борский» обрадовала только журналистов, из коих один объявил, что теперь должно учиться стихи писать у г. Подолинского, а не у Жуковского и Пушкина. Стихи в «Борском», как и в «Див и Пери», благозвучны, но язык еще более небрежен, а план его,

как известно читателям, склеен из неискусных подражаний двум-трем поэмам любимейших наших поэтов и закончен катастрофой собственной выдумки, годной разве для модных французских пародий... Благозвучные стихи без мыслей обнаруживают не талант поэтический, а хорошо устроенный орган слуха».

Переходя далее к оценке «Нищего» и опять вспоминая многообещающее впечатление, произведенное Подолинским в «Див и Пери», Дельвиг писал: «К сожалению надежды наши не сбылись по прочтении «Нищего». В нем напрасно вы будете искать поэтического вымысла, в нем нет во многих местах (не говорю о грамматике) даже смысла. Это что-то похожее на будильник, но хуже: ибо будильник имеет цель, он звенит, чтобы разбудить в назначенное время спящего человека». В заключение рецензии Дельвиг цитировал следующие строки из «Нищего», адресуя их к литературной беспомощности и несамостоятельности автора:

Убог и сир,
Я обхожу печальный мир,
Порою шумные поля
Объемлю жадным взором я
И мыслю: *Еслиб хоть одно*
Здесь было и мое зерно.

Так недвусмысленно определил Дельвиг место Подолинского в литературе, как всего лишь эпигона и подражателя, в про-

тивовес неумеренно расточавшимся ему до того журналами похвалам.

За Подолинского вступились враждебные дворянской «аристократической партии», возглавляемой Дельвигом и «Литературной Газетой», журналы «Северный Меркурий» М. Бестужева-Рюмина и «Сын Отечества» Булгарина. Защита не носила серьезного характера. Не вступая в спор по существу, защитники Подолинского ограничились издевательскими шутками по адресу Дельвига и «Литературной Газеты». Сам Подолинский воспринял рецензию Дельвига как личную обиду и счел, что она написана «не совсем добросовестно» и с явным намерением «уколоть» его «побольнее». «Дружеская услуга такого рода, — писал он по этому поводу в своих «Воспоминаниях», — не могла мне быть приятною. Но главное дело не в ней, а единственно в том, что рецензия печаталась в дельвиговской «Литературной Газете» в тот самый вечер, который я по обыкновению проводил у барона, в который он был со мною по обыкновению дружелюбен, не упомянув однако же ни слова о приготовленной на меня грозе, чего при наших отношениях он не должен был бы сделать... Вот что, собственно, охладило меня к барону, рассеяв и мое заблуждение о приязни его ко мне. Но я не сказал ему ни слова на рецензию, а только перестал у него бывать».

Соредактор Дельвига по «Литературной Газете» О. М. Сомов в письме от 27 октября 1830 г. к В. Г. Теплякову сообщал о Подолинском: «Мои связи с ним крайне ослабли по *газетным причинам*: он сердится на нас за отзыв о его «Нищем».

Ссора с Дельвигом повлияла и на выбор Подолинским литературно-журнальных изданий, в которых он в дальнейшем помещал свои стихи. Так в «Литературной Газете», сотрудником которой Подолинский числился до ссоры с Дельвигом, появилось всего лишь одно его стихотворение в № 22 за 1830 г. Это стихотворение очевидно находилось в портфеле редакции еще до рецензии Дельвига, появившейся в № 19. Порвав с «Литературной Газетой» и ее кругом, Подолинский стал нарочито помещать свои стихи в органах ее антагонистов. Так например, в «Северном Меркурии» Бестужева-Рюмина за один только 1830 г. появилось десять его стихотворений. Одно появилось даже в издании прямого врага «Литературной Газеты» — в «Северной Пчеле» Булгарина.

Из этого можно заключить, насколько Подолинский был нетверд в своих литературно-общественных взглядах. Впоследствии сам Подолинский в своих «Воспоминаниях» писал: «Я... с ранних пор дал себе слово избегать всякой журнальной стачки, не входить ни в какую полемику и не принадлежать ни к какой исключительной партии».

Эти слова, претендующие на сугубую принципиальность, в действительности отражают полную беспринципность Подолинского. Пригретый в кругу Дельвига, механически впитавший в себя присущую этому кругу литераторов высокую стихотворную технику и слепо следовавший в своем творчестве за литературными традициями этого круга, Подолинский сразу же переметнулся к его врагам, как только пострадали его личные интересы. Характерно, что разрыв с «Литературной Газетой» ни в какой мере не отразился на характере и направлении творчества Подолинского. Как прежде, так и теперь он оставался эпигоном высокой дворянской поэзии 20-х годов, интересы которой и представляла «Литературная Газета». Из этой поэзии Подолинский черпал все, что мог, подражая различным индивидуальным поэтическим системам ее представителей. О влиянии Жуковского мы уже говорили. От Жуковского и поэтов его школы (Козлов) Подолинский воспринял окрашивающие все его творчество настроения байронической разочарованности, лишенной характерного для самого Байрона бунтарства (см. выше статью Ц. Вольпе о Козлове). Жуковский был главным образцом для Подолинского, но далеко не единственным. Так, темы элегического байронизма сочетаются у него с темами романтической лирики любомудров, введших

в оборот русской поэзии заимствованные ими из немецкой романтической философии и поэзии возвышенные философские темы высокого назначения искусства, поэта-жреца, проникающего в таинства жизни и природы и романтическое понимание природы, как жизнетворящего начала. В этом отношении Подолинский в таких стихотворениях, как «Жребий», «Поэту», «Гений», «Природа», «Ответ», находится в прямой зависимости от поэта-любомудра Д. Веневитинова.[1] Во власти этих романтических тем Подолинский остался до конца жизни. Кроме того, мы найдем у него и любовную элегию (см. стихотворение «Вечер»), характерную для начала 20-х годов, элегию, лучшими мастерами которой были Пушкин и Баратынский, и русскую песню, написанную несомненно под влиянием русских песен Дельвига, и наряду с этим встретим стихотворения, продолжающие «восточные» традиции русской романтической поэзии 20-х годов (см. стихотворение «Гурия»), которым отдал дань и Пушкин своим циклом «Подражание Корану» (1824 г.). Целиком вырастая на уже готовом материале русской романтической поэзии, механически усвоив ее тематические, жанровые традиции и принципы словоупотребления, Подолинский

---

[1] Первая часть сочинений Веневитинова «Стихотворения» вышла в 1829 г.

часто оказывается во власти готовых, заимствованных им у своих предшественников и современников фразеологических формул. Так например, первая строка стихотворения «Жребий» — «К чему печальные сомненья?» почти дословно повторяют первую строку послания Пушкина к Чаадаеву: «К чему холодные сомненья?»

Пушкину и поэтам его школы, главным образом Баратынскому, Подолинский был обязан преимущественно техникой своего сглаженного, опирающегося на готовые фразеологические и ритмические формы языка.

4

После разрыва с Дельвигом и его кругом Подолинский замыкается в кругу служебных знакомств и товарищеских связей по Университетскому пансиону. Бывшие воспитанники пансиона, среди которых были известный впоследствии композитор М. И. Глинка и третьестепенный поэт А. Римский-Корсаков, часто собирались на «дружеские сходки», именуемые ими «ассамблеями». Эти «ассамблеи» носили подчас разгульный характер. О самом Подолинском известно, что к этому времени у него развилось большое пристрастие к картам. Не обладая большим состоянием, Подолинский по словам современника «проигрывал даже экземпляры бедных своих поэмок».

В 1831 г. Подолинский получил перевод в Одессу с повышением по службе. Он был назначен помощником начальника 7-го почтового округа. Перед ним открывалась прочная служебная карьера.

В первые годы своей одесской жизни Подолинский продолжает печататься довольно часто, но преимущественно уже в таких второстепенных журналах и изданиях, как «Гирланда», «Одесский альманах» «Альциона» и т. п. Однако довольно скоро он окончательно превращается в провинциального чиновника и постепенно теряет связь с литературой. Так в 1834 г., упоминая Подолинского в своей статье «Литературные мечтания», Белинский говорит о нем, как о прошлом явлении русской поэзии, обманувшем возлагавшиеся на него надежды. «Подолинский подал о себе самые лестные надежды, — писал Белинский, — и к несчастью не выполнил их. Он владел поэтическим языком и не был лишен поэтического чувства. Мне кажется, что причина его неуспеха заключается в том, что он не сознал своего назначения и шел не по своей дороге».

В целом к середине 30-х годов Подолинский вовсе уходит из поля зрения критики. Но вот в 1837 г. сначала в «Библиотеке для Чтения», а затем отдельной книжкой появляется его новая большая поэма «Смерть Пери» и вслед за ней в том же году выходит собрание его стихотворений в двух частях.

В связи с этим имя Подолинского снова всплывает на страницах журналов и газет и опять панегирически превозносится антагонистами уже умершего в то время Пушкина и других поэтов его ориентации. Приравнивая Подолинского к лучшим из этих поэтов и подчеркивая «пленительную» музыкальность его стихов, Сенковский писал: «Подобных ему поэтов ни в какой поэзии не считают десятками и во всяком случае для поэта, которому не дано быть ни Пушкиным ни Жуковским, весьма почетно стоять на одном из первых мест того ряда талантов, где уже поместились со славою наши Козловы, Языковы, Баратынские, Дельвиги, Хомяковы и еще два или три поэта, коих имена означили блестящий переход от Жуковского к Пушкину».

Еще определеннее высказался Булгарин: «Мнение наше, — писал он, — о нем (т. е. о Подолинском. *Е. К.*) давно известно. Мы думаем, что теперь (увы! Пушкина уже нет!) по отделке стиха Подолинский займет первое место между всеми нашими поэтами».

Внимание, уделяемое Подолинскому Булгариным и Сенковским, журналистами и литераторами, представлявшими отсталые литературные вкусы реакционного мещанства и чиновничества николаевской эпохи, вносит не безинтересный штрих в литературную борьбу 30-х годов. Борясь с идейными дворянскими поэтами того времени,

в том числе и с Пушкиным, Булгарин и Сенковский выдвигают эпигона Подолинского, перепевавшего традиционные мотивы этой поэзии вне какой-либо принципиальной идейной устремленности. С этой точки зрения Подолинский играет в 30-е годы роль, сходную с Бенедиктовым. Оба поэта привлекали к себе внимание культурно-отсталого и политически реакционного читателя внешними эффектами, пышными образами и сравнениями, в которые они облекали традиционные романтические темы. Прямым подражанием Бенедиктову звучат многие стихотворения Подолинского второй половины 30-х годов. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить печатаемое ниже стихотворение Подолинского «Бальной призрак» со стихотворением Бенедиктова «Вальс»:

Все блестит: цветы, кенкеты
И алмаз, и бирюза,
Люстры, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты, -
Кудри, фразы и глаза.
Все в движеньи: воздух, люди,
Ленты, блонды, плечи, груди,
И достойные венца
Ножки с тайным их обетом,
И страстями и корсетом
Изнуренные сердца...
и т. д.

Однако, сравнивая Подолинского с Бенедиктовым, приходится говорить не столько о подражании, сколько о некоторой общности пути этих поэтов, переосмысливших

в 30-е—40-е гг. наследие высокой литературной культуры дворянской поэзии 20-х годов под углом зрения литературных вкусов и запросов мещанского и мелкочиновного читателя.

5

Успех издания 1837 г. не вернул однако Подолинского к литературе.

В 1838 г. Подолинский женится на дочери крупного херсонского помещика Марии Сергеевне Кудашевой и с этого времени начинает быстро продвигаться по ступеням служебной карьеры. В 1850 г. он выходит в отставку с чином действительного статского советника и званием камергера.

После отставки Подолинский поселяется в отцовском имении «Ярославка», занимается там хозяйством, увлекается ботаникой и садоводством. Стихотворения Подолинского перестали появляться в печати уже с начала 40-х годов. Только в 1855 г. Подолинский опубликовал несколько патриотических стихотворений, посвященных событиям Крымской войны.

Однако все эти годы Подолинский не переставал писать и в 1860 г. выпустил собрание своих сочинений, изданное его другом Н. Г. Устряловым. Несмотря на исключительно низкую цену — 3 рубля за два объемистых тома — издание не

разошлось. Из письма Подолинского к издателю «Русской Старины» Семевскому известно, что Подолинский передал оставшиеся 700 экземпляров своего издания обществу Красного Креста.

Издание встретило резкую отповедь со стороны разночинно-демократической критики 60-х годов, осуждавшей безидейность и подражательность творчества Подолинского.

Наиболее подробная рецензия принадлежит Добролюбову. Высмеивая байронический романтизм дворянской поэзии 20-х годов и называя Подолинского самым смешным» из подражателей Байрона, Добролюбов писал: «В его (Подолинского) стихотворениях вы видите человека, который положительно не знает, что делать с собой: у него просто нет и не бывало глубины и энергии страсти, а он должен уверять себя и других, что все в мире недостойно его страсти. Но что же именно недостойно? Вот в этом-то и затруднение, тут-то и начинается его горе. Ему собственно все нравится, и он должен придумывать, что бы объявить для себя постылым». Сравнивая Подолинского с Полонским, Добролюбов писал:

«Кроме степени таланта между ними есть еще и та разница, что в основе поэзии Полонского, даже в фантастических ее проявлениях, мы видим гуманное начало, видим близость его к людям и жизни;

у Подолинского же эфирность, фантазия составляют самую сущность поэзии...»

Между Подолинским, младшим современником Пушкина, эклектиком и эпигоном романтической поэзии 20-х годов и революционно-демократическим поколением «шестидесятников» лежала непроходимая грань. Подолинский остался совершенно чужд общественно-политическим устремлениям молодого поколения и замолчал, после того как это поколение вынесло суровый приговор его изданию 1860 г. «Сохраняя мои прежние понятия о поэзии, — писал в связи с этим Подолинский в 1884 г., — я признавал себя неуместным при овладевшем уже нашею литературою грубо реальном направлении». (Письмо к Семевскому.) Однако такова была податливость Подолинского чужим влияниям, что он все же отдал дань гражданской поэзии 50—60-х годов. Примером тому служит печатаемое ниже стихотворение «После войны». Тематика, язык, имитирующий народную речь, носит явные следы влияния гражданской лирики Некрасова. Еще более характерна одна из последних вещей Подолинского, политическая сатира «Багряновидная заря». Близкая в формальном отношении к гражданским стихотворениям Некрасова («О погоде»), сатира по своим общественным устремлениям, равно бичующим как черты официального государственно-политического строя России

70—80-х годов, так и революционного движения этих лет, приближается к сатирическим стихотворениям А. Толстого типа «Русской истории».

Характерно, что сатира должна была быть напечатана в «Русской Старине», издании преимущественно архивного значения, публиковавшем документы и раритеты прошлого. В качестве такого раритета появился в «Русской Старине» на протяжении 1884—1886 гг. ряд стихотворений Подолинского, как поэта, интересного своей былой близостью к знаменитой пушкинской плеяде, принадлежащей далекому прошлому русской литературы.

4 января 1886 г. Подолинский умер в Киеве от старческого бронхита.

Место Подолинского в русской поэзии лучше всего определить словами его современника поэта-декабриста В. К. Кюхельбекера. В 1841 г. Кюхельбекер писал о Подолинском: «Это русский Маттисон. [1] — Та же страсть казаться чрезвычайно несчастным, разочарованным, убитым (отчего? почему? — неизвестно). Тот же гармонический цветистый язык и что-то похожее на роскошь картин и живописи — и (больно сказать) то же бессилие, то же отсутствие истинной поэзии, — что-то однообразное, вялое вопреки всем притязаниям

---

[1] **Ф. Маттисон (1761—1831)—немецкий элегический поэт.**

на силу... Впрочем, в век таких гениальных пачкунов, каковы Тимофеев и Бернет,[1] спасибо Подолинскому за его уважение к языку и стихотворению: это не Баратынский, ни даже Языков, но все же человек старой пушкинской школы, для которого поэзия — высокое искусство, а не заиканье полупьяного мальчишки».

Для нас творчество Подолинского представляет интерес преимущественно в историко-литературном плане. Тип эпигонства, представленного Подолинским, эпигонства, выросшего на почве кризиса поэтической культуры, кризиса, связанного с крушением декабризма и с переломной эпохой русской поэзии (20-е—30-е гг.), — показывает нам пути вырождения высокой поэтической культуры пушкинского времени и тем самым дает возможность понять эту поэтическую культуру не только в ее расцвете, но и в ее упадке. Таким образом отрицательные качества поэзии Подолинского имеют явно положительный историко-литературный смысл.

Е. Купреянова

---

[1] **А. В. Тимофеев и Бернет** (псевдоним А. К. Жуковского)—бездарные поэты 30-х годов.

ДИВ И ПЕРИ

В войнах у Дивов с Пери, коль скоро первые брали в плен последних, то запирали их в железные клетки, которые привешивали к высоким деревьям. Подруги пленниц посещали их и приносили им лучшие благовония.

Ричардсон

I

Из пределов Сегестана
К дальним рощам Хорасана
Пери легкая неслась. —
Тень ложилась на равнины...
И безмолвны те долины,
Где когда-то кровь лилась;
Где неслись ордынцев клики,
Голос Керны завывал,
И на трупах тот Великий,
Тот ужасный пировал,
Кто на царства и народы
С шумом бури налетал,
И как вихорь непогоды,
Разрушением дышал!

II

Он промчался — и повсюду
Нивы кровью напоил;

Грады в каменную груду,
В пепел храмы обратил!
Но свершилось! — Меч Некира,
Меч судеб неумолим:
Он сверкнул — и в лоне мира
Пепел грозного храним!..
Стихнул вихрь опустошенья;
Битвы смолкли: — и один
Мрачный дух уединенья
Ходит в сумраке долин.
Он задумчив и печален —
Часто зрим во мгле ночной,
Над громадою развалин,
Озаряемых луной.

III

Тот предел перелетая,
Видит Пери: чуть мелькая,
Между камней цвет ночной
Блещет радужной росой;
И склонясь под сенью древа,
Как задумчивая дева,
Дремлет в неге, — и сквозь сон,
Ароматом дышит он.
И к нему, благоуханьем
С высоты привлечена,
Мчится Пери, и дыханье
Пьет душистое она.

IV

Но уж вечер потухает;
На равнинах темнота;

Вот на небо выплывает
Месяц, ночи красота;
Вот, как Алиевы очи,
Засияли звезды ночи
В лоне сумрачных небес...
«Там — над ними край чудес, —
Приуныв, сказала Пери, —
Там — но что ж? — К Эдемской двери
Подлететь не смею я.
Вход в нее — не для меня!»
Смолкла... Звездные узоры
Ей сияют с вышины,
И задумчивые взоры
Грустно к ним обращены...

V

Вот и поздно. — Пери снова
Понеслась, — и ей видна —
Одинока и темна —
Та священная дуброва,
Где над сению ветвей
Храмы гебров подымались;
Где народы собирались
В мгл торжественных ночей.
Там — дымились их кадила;
Там — звучали их пиры
В честь полдневного светила;
Рдели заревом костры;
Чаши нектаром кипели,
И до утра гимны пели —
Под навесами дерев —
Хоры юношей и дев.

VI

Девы солнца! где вы ныне?
Вот священный огнь погас!
И в таинственной пустыне
Прорицаний смолкнул глас!..
Вас уж нет!.. Но тени ваши
В час, как из небесной чаши
Льется мрак — меж облаков,
Цепью легкою мелькают;
И с гармонией миров
Гимн торжественный сливают.
И когда, ночной порой.
Сядет путник запоздалой,
Опершись рукой усталой
На обломок гробовой, —
Он услышит ваше пенье
И, как сладкое виденье,
Вас увидит сквозь дерев —
В светлом сонме райских дев...

VII

Но из пепла не восстанут
Храмы солнца на холмах!
И века не перестанут
Попирать забытый прах!
Всё прошло! — седые своды
Рушил времени полет;
И порывом непогоды
Скоро след их заметет. —
Так! святыни гебров пали;
Но поникшие к стопам,
Как заветные скрижали,

Святы поздним племенам...
И на мшистые обломки
Смотрят, мрачные душой,
Гебров грустные потомки
С умиленьем и тоской!..

VIII

Длинный ряд поникших зданий
Видит Пери — и мрачна, —
Как пред ней страна преданий, —
Снова мыслию она:
«Вот земное! прах ничтожный!
Ныне в блеске: завтра где?
Дунет ветр неосторожный, —
И, как тени на воде, —
Всё исчезнет! — всё! — Давно ли
Здесь, на солнцевом престоле,
На порфировых столпах —
Розы пышные блистали
И кругом благоухали
На раскинутых коврах?
Где ж оне? — Оне завяли
В дни торжеств, как в дни печали,
Вянут свежие цветы:
Как в руках окостенелых,
Как на персях охладелых
В гробе юной красоты.

IX

Но пускай в тени долины
Блекли розы: — им одну

Жить и радовать весну: —
Что же храмы! Исполины,
Возраставшие в веках,
Коих гордые вершины
Озарялись в облаках, —
Чуть мелькал на небосклоне
Пламень утренних огней,
И казались дня на склоне,
Будто в огненной короне,
Отражая блеск лучей!
Мнилось — памятники славы —
Их громады величавы
Устоят против веков:
Устоят — доколь не двинет
Тот вселенные основ,
Кто велит — и опрокинет
Сонм пылающих миров;
Кто с высот — небес опоры —
Раздробит седые горы,
Хлынет морем на поля;
И по чьей единой власти
Не развалится на части
Полъистлевшая земля!

X

«Но ужасного воззванья
Грозный день не наступал;
Голос ангела молчал:
И как в утро мирозданья
На земле, на небесах,
Всё, чем вечно-неизменной
Нам украсил круг вселенной, —

Видим в прежних красотах;
Горы, холмы устояли,
Блещут воды, как блистали,
И цветы среди полей
Те ж: — а храмы солнца — пали! —
В прах создания людей!
И еще чредой заветной
Дни за днями протекут;
Их остатки неприметно
Мхом и плющем зарастут;
И о них воспоминанье,
Как неверное преданье,
Род из рода сохранит;
И загадкой для потомков
Будет место — где лежит
Ряд священных их обломков».

XI

Так в мечты погружена,
Сострадательная Пери
Невозвратные потери
Вспоминала; — и грустна
(Как Седжина страж унылой —
Чье перо изобразило
На нетлеющих листах
Повесть слез и злодеянья,
Казнь погрязнувших в грехах,
И молитвы покаянья),
Над развалиной она
Легким призраком мелькала!
То во мраке утопала,
То луной озарена,

В новом блеске выплывала...
Вдруг — прервалась тишина,
Вся дубрава зашумела,
Будто буря налетела,
Будто дождь в листах шумел,
И со свистом ветр летел.

XII

Пери внемлет — и в смущеньи,
Вещим сердцем узнает
Дивов сумрачных полет:
Где укрыться? Нет спасенья
Ни в дубраве, ни в тени!
Грозных Дивов зорки очи!
И привычней к мраку ночи,
И быстрей летят они...
Вот уж близко, вот уж веет
Ветр от их шумящих крыл...
Пуще Пери цепенеет,
Пуще дух ее уныл:
Но с усильем развивает
Крылы легкие — и вдруг
В тень дерев перелетает...
Тщетно всё! уже вокруг
Дивы быстрые стеснились,
Зашумели, опустились,
И влекут между ветвей
Пери пленницей своей!
Так над горлицей пугливой
Хитрый коршун торопливо
Промелькнет — и на лету,
Мчит добычу в высоту.

XIII

Очарована от века —
Есть громада диких скал.
Взор и голос человека
В их предел не проникал;
Их бесплодная вершина
Безобразна и мрачна,
И, как темя исполина,
В тучах кроется она.
Но в ограде их кремнистой
Луг роскошный и душистой
Кинут мягкой пеленой;
Луч весны его лелеет,
Зной не жжет и хлад не веет;
Но вечернею порой
Тихий ветр полудня дышет,
И едва-едва колышет
Ветви лавров и олив;
И, как радуги отлив,
Из ущелистой громады
С шумом льются водопады.
И кругом, между цветов,
Будто искры золотые,
В воздух ветром поднятые,
Блещут крылья мотыльков.
Все в лугу уединенном,
Мнится, негой упоенным —
И любовию: — но он
Не был неге посвящен.

XIV

Дивы силой талисмана
Из сокровищ океана

Там сложили дивный грот:
В нем то перлы, то кораллы
То янтарные кристаллы,
Как в чертогах духа вод;
И от стен его сиянье,
И кругом благоуханье
Дышит с ясной высоты;
Негой чувства утомляет
И невольно пробуждает
Сердцу сладкие мечты...
Но от века наслажденьем
Грот сей не был оживлен:
Дивов сильным поколеньем
Безотлучно охранен;
И решеткою до свода
Крепко сомкнутый у входа,
Пленниц их скрывает он.

XV

И как призрак тот прелестной,
Как волшебный идеал,
В коем юноша создал
Образ девы неизвестной,
Девы той, о коей он
В ночь бессонную тоскует;
Чьи красы в мечтах рисует,
Думой страстной распален:
Так пленительная Пери
В гроте том заключена —
Чуть мелькает, чуть видна
Сквозь решетчатые двери:
И пред ней, главу склонив,

Недвижим на камне мшистом,
Страж ее, суровый Див
Виден в свете серебристом
Потухающей луны. —
И на Дива с вышины
Ветр прохладный налетает
И колебля пух крыла,
Кудри черные взвевает
И клубит их вкруг чела.

XVI

Но уж гаснет, померкая,
Строй полуночных светил.
Ангел света растворил
Дверь Эдема — и блистая
Пурпур дня меж облаков
Льется райскими лучами:
Как сиянье над главами
Неотверженных духов.
Разошлись ночные тени,
Зарумянился поток;
И цветы и рощей сени
Обратились на восток.
И роса из лона розы
Покатилась на листы,
И сияет, будто слезы
На румянце красоты. —
Но недвижный и угрюмый —
Див объят мятежной думой...
И, зарей освещена,
Пери всё томна, бледна:
Как Аравии холмистой

Цвет блестящий и душистой —
Если хладом поражен, —
Блекнет вдруг и вянет он.

XVII

И на волю из темницы
Смотрит пленница сквозь слез:
Благодатный луч денницы
Ей веселья не принес;
Ей не в радость дня сиянье,
И невольное стенанье
Перси жаркие теснит...
В грусти Пери говорит:
«Облака, куда летите?
Подождите, посмотрите,
И снесите в вышине
Весть подругам обо мне:
Им доступно состраданье;
На печальное свиданье
С высоты слетят оне!
И цветов блестящих златом
Мне повеют ароматом;
И алмаз и изумруд
В дар унылой принесут...
Но зачем сиянье злата?
Что мне вешний аромат?
Воли горькая утрата,
Чем тебя мне заменят?

XVIII

«Дайте ж, дайте мне свободу!
Я к румяному восходу,

В беспредельность высоты,
Полечу быстрей мечты!
Там вольней мое дыханье,
Там ясней увижу я
Пробужденное созданье
В полном блеске бытия!
Там лучами дня согрета,
Встречусь я с духами света,
С их сиянием сольюсь...
Что? Куда? О чем молюсь!
Мне ль преступной нпованье?
Мне ль отверженной сиянье
И Эдема красота?
О беги, беги мечта!
Вижу сомкнутые двери;
Я в плену!» и очи Пери
Полны слез... и вновь она
Тайной грусти предана.

XIX

Тихий плач ее, стенанья
Внемлет Див. — Доселе он
Без участья, без вниманья
Видел слезы, слышал стон:
Ныне — голос прежде милый
В речи пленницы унылой
Он узнал; он всё забыл —
Гнев, вражду и клятвы мщенья...
Он на Пери обратил
Взор невольный сожаленья. —
И для ней красноречив
Был тот взор: — она узнала,

Отчего суровый Див
Вдруг смягчился — и сказала:

XX

«Див! ужель не плачешь ты
Об утраченном блаженстве,
О небесном совершенстве
Нашей прежней красоты?
Злобный, мрачный — ты не
видишь
Блеска утренних небес!
Иль отверг и ненавидишь
Ты зиждителя чудес?
Иль не хочешь, иль не просишь
Первой жизни, первых дней,
И мечты не переносишь
Вновь к источнику лучей, —
К вечному владыке света, —
Кем вселенная согрета,
Кто рассеял, кто возжег
Звезды яркой полосою?
Кто бы вдруг во гневе мог
Их обрушить над тобою!..
Ты бессмертного лица —
Чистый, — прежде не чуждался,
На тебе его венца
Блеск чудесный отражался!..
И пред дивным блеском сим
Что сияние земное?
Наше солнце золотое —
Тень вечерняя пред ним!..

XXI

«Вспомни, Див: и мы сияли,
И ликуя называли —
Не тревожимы ничем —
Нашей родиной Эдем!
О! кто блеск его опишет?
Кто постиг его душой?
В нем всё жизнь, всё жизнью дышет
И любовию святой!
Из его священных сеней
Гений тайных размышлений
Навевает мысль о нем —
Над возвышенным певцом!
Но земному ль откровенья
Тайный помысл разгадать,
И порывы вдохновенья
Звукам слово передать?
Он расскажет ли понятно
Об эдемской тишине,
О деннице необъятной,
О негаснущей весне?
Нет! пред смертным не спадает
Тот таинственный завес,
Коим Алла отделяет
Человека от небес!..
Кто же зрел, как девы рая,
Вечной младостью блистая,
Верным в сретенье летят, —
И для них, от трона Аллы,
Носят звездные фиалы?
Кто изведал, как горят

Гурий страстные лобзанья, —
В коих слиты все желанья,
Все восторги бытия?
И, — не светлый небожитель —
Кто проникнул в те края,
В ту блестящую обитель,
Где составил звучный хор
Светлый ангелов собор?..
Он поет, — и Алла внемлет:
И создание объемлет
Тишина; — и строй миров,
Неподвижен, умолкает
И в безмолвии внимает
Звукам райских голосов!
Вспомни, Див, — и мы сливали
С ними некогда свой глас;
Вспомни — некогда и нас
Братски ангелы лобзали! —
То же ль ныне?..»

XXII

Див прервал:
«Пери, Пери, — он сказал, —
Сердцу сетовать напрасно!
Что мечты? — будить опасно
Их в сердечной глубине: —
Пусть безмолвствуют оне!
Нам из сумрака забвенья,
Дней утраченных виденья
Думой вновь не вызывать;
Пери, жребий наш — страдать!
Несть ярем существованья,

И насильно заглушать
Сердца тайные роптанья!
Так, о жребии другом
Позабудь, — мечта иная
Отравит мечту о нем:
Мы отторгнуты от рая —
И отторгнуты — навек!..» —

XXIII

— «Див! но падший человек,
Смертный, немощный пред нами,
Не надеется ль, что вновь
С ним предвечного любовь
Примирится? — И лучами
Новой жизни озарен,
Падший — вновь восстанет он?
Див! мы первенцы созданья,
Мы ль утратим упованья!
Нет! и к нам не будет строг
Тот, кто вдруг создать возмог
Полноту своей державы
И для жизни вызвал нас,
Чтоб заря предвечной славы
И над нами разлилась!» —

XXIV

— «Так! Небесного начала
Отпечаток сохраняла
Пери, ты и на земле;
Я — забытый, брошен в мгле;
Вечный мрак — моя стихия:

Недра гор, леса глухие —
Мне жилище; ночь и день
Я скитаюся как тень!
Я кляну существованье!
Мысль одна, одно желанье,
Чтоб внезапно на меня
Грянул гром неотразимый;
И как ветром дым носимый,
Так рассеялся и я!
Пери! Тщетные желанья!
Нет, конца существованья
Я напрасно бы искал!..
Помню: часто я летал
Над ливийскими песками;
И шумящими крылами
Вихрь и бурю подымал;
Выше гор, чернее тучи
Вдруг взвевался прах летучий,
Под песчаною волной
Гибли путники толпой!
И в песках погибнуть с ними
Я хотел, но вихрь стихал,
И меж трупов я стоял,
Смерти жаждою томимый!..
Часто в сумраке ночном
Я слыхал: подземный гром
Прогремит, и дым и пламень
Заклубятся над землей;
И летит раженный камень,
И, свистя во мгле ночной,
Столп чертит он огневой:
Скалы, здания, дубравы
С страшным грохотом падут;

И валы кипящей лавы
И клокочут и ревут...
И стремясь к отверстью бездны,
Алчно смерти я искал! —
Что же? пламень потухал,
И средь гибели, безвредный,
Я один не погибал!

XXV

«И с последним упованьем
Я стремительно летел
В край далекий, в тот предел,
Где язвительным дыханьем
Ветр пустыни навевал;
И в стране опустошенной
В воздух зноем распаленной
Смерти яд переливал.
Там повсюду я встречал
Разрушения картины:
Блекли рощи и долины,
Иссякали ложа рек;
Град за градом разрушался,
И страшился и чуждался
Человека человек!
Гибло все: и ядовитый
Воздух жадно я впивал;
Он мне перси и ланиты
Будто пламень распалял:
Но сбылось ли ожиданье?
Нет, напрасное желанье!
Он не мне в погибель был:
Я страдал: но всё я жил!..

Пери! в общем разрушеньи
Я лишь гибели искал:
В ней мне Алла отказал!
Что же мыслить о прощеньи?
Что на благость уповать?
Казнь на грешном тяготеет;
На челе моем чернеет
Отвержения печать!» —

XXVI

— «Смолкни, Див! о нет, не мысли,
Что творец неумолим;
Но в смирении, исчисли
Ты грехи свои пред ним;
И с глубоким покаяньем,
С верой, с чистым упованьем
Припади к его стопам!
О, поверь моим словам:
Если б гордый возмутитель,
Если б Эвлис пред творцом
Пал, в раскаяньи, челом,
И ему бы вседержитель
Слово милости изрек,
А к тебе ль он будет век
Непреклонен? В день паденья,
Ты, в обмане обольщенья,
Свой проступок совершил,
Ты ни в ком не растравил
Страшной мысли возмущенья!..
Див, надейся и молись!
Грех искупишь ты моленьем.
Но пред светлым примиреньем
И со мною примирись!»

XXVII

Безответен, в размышленьи,
Див, казалось, не внимал;
Но души его волненье
Взор смущенный выражал.
Долго, долго он молчал!
Вдруг — ланиты запылали —
«Добрый дух! — воскликнул он, —
Пери, Пери, о! тебя ли
Гнал я, местью распален?
Ты одна ко мне склонила
Состраданья светлый взор;
Ты в преступном пробудила
Тайный совести укор:
Так, вина моя велика —
Правосуден мой владыка,
Он за грех меня карал;
Но лишил ли упованья?
Нет, он в чувстве покаянья
Путь к спасенью указал!
Дай же руку примиренья,
Пери, грустному внемли;
И со мною о прощеньи
Вседержителя моли!»
И решетчатые двери
Див сорвал... Он руку Пери
Жал горячею рукой;
И с раскаяньем, с мольбой
В прах челом они упали!
По ланитам их бежали
Слезы жаркою струей.

XXVIII

Так, в священном умиленьи,
Долго было их моленье...
Вдруг... над ними тихий звон!..
Струн невидимых бряцанье;
И кругом на небосклон
Льется яркое сиянье;
И с востока всё ясней
Слышен голос; он звучней —
Меж горами утаенных —
Вечным звуком оживленных
Гармонических ключей...
Див и Пери, в изумленьи,
Смотрят... Кто ж явился им?
С пальмой светлой примиренья
Дух прелестный Израфим.

XXIX

И гласит посланник бога:
«До надзвездного чертога,
К трону Аллы, в краткий миг,
Глас раскаянья достиг!
Духи! чистое моленье
Милосердо он приял,
И в Седжине записал
Ангел ваше примиренье,
Но еще прекрасный рай
Не для вас: — из края в край
Землю вместе облетите,
И красой достойных дел
Блеск Эдема искупите...
Так создатель повелел:

Вы невидимым покровом
Будьте смертным: — но когда
На востоке, в блеске новом,
Вспыхнет новая звезда;
О, тогда конец желаньям —
Вы летите с упованьем:
Светлый рай для вас открыт!»
Ангел смолкнул, — и парит —
И сокрылся в отдаленьи.
Но незримой арфы пенье
Вновь в эфире раздалось,
И струей благоуханье —
Будто лилии дыханье —
Над землею пролилось.

XXX

Вслед за гостем лучезарным
Смотрит Пери, смотрит Див,
Взоры с чувством благодарным
Вновь к востоку обратив:
Мнилось, им преображалось,
Воскресало всё для них;
Вся природа, им казалось,
Обновлялась в этот миг!
И уж крилы их трепещут —
Вот шумят, — и в высоте
Див и Пери снова блещут
В первобытной красоте,
И летят; — и всё пестреет,
Всё теряется вдали;
И уже едва светлеет
Перед ними круг земли.

XXXI

Дни бегут, лета мелькают
Неизменною чредой:
Каждый год рука с рукой
Див и Пери посещают
Край за краем. Над землей
Льются их благодеянья: —
Их достойные деянья
Человек благословлял;
И об них воспоминанье
Он потомству завещал.
Но у них одно желанье,
Мысль все та же; и она
Им отрадою одна.
«Скоро ль, скоро ль? — вопрошают
Друг у друга — и порой
С тихим вздохом и слезой
Взор к востоку обращают.

XXXII

Вот однажды погасал
День на небе Персистана;
На платанах вдоль кургана
Луч последний трепетал.
И вечернее моленье
Духи в стройном песнопеньи
Совершали... Вдруг вдали,
Отделившись от земли!
Огнь румяный покатился, —
И восток воспламенился,
И желанная звезда

Загорелась! — Что ж тогда
Див и Пери? — Вдруг сияют
В красоте ее лучей.
«О, создатель!» — восклицают —
И взвились! — и прямо к ней:..

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ
«БОРСКИЙ»

День угаснул; потемнели
Воды, рощи и поля,
Как младенец в колыбели,
Спит усталая земля,
Сон ее благоговейно
Добрый гений сторожит;
Всё так мирно, — всё молчит —
Только ветер тиховейный,
В час, как дремлют дол и сад,
Розмаринный и лилейный
Переносит аромат.

Вот и он — красавец ночи,
Месяц, по небу взошел,
И на спящую навел
Он серебряные очи.
Реже сумрак, свет ясней,
И, как будто из лучей,
Вдруг соткалось покрывало —
И на грудь земли упало...

О месяц, месяц! сколько раз
Ты в небе весело сияешь,
Но как ты мало светлых глаз,
Как много слез ты озаряешь!

Тебя не тот с тоскою ждет,
Кто не изведал с роком битвы,
Кто благодарные молитвы
За день свой ночью воздает,
Но от восхода до заката
Тот глаз не сводит от тебя,
Чья жизнь утратами богата,
Кто часто плачет про себя, —
О месяц ясный, месяц полный!
Не слез одних свидетель ты —
Как часто, с темной высоты,
Ты зритель ужасов безмолвный!
Не раз в лучах твоих блистал
В крови дымящийся кинжал!
О если б мог ты в эту пору
Потухнуть в сумраке ночном,
Налиться кровью — и пятном,
Убийцы трепетному взору,
Казаться в небе голубом!
Пускай бы знал ночной губитель,
Что есть свидетель темных дел,
Что на него с небес глядел
Неотразимый обвинитель.
Но это сон!.. Быть может вновь
И в эту ночь польется кровь,
Но также ясный, также хладный
И сталь и кровь осветишь ты
И на убийцу с высоты
Уронишь луч равно отрадный...

Елена спит; ее супруг
Без сна, встревоженный, на ложе

Ревнивый взор его и слух
Всю ночь как будто настороже.
Чего он ждет? Не знает сам —
Но душу мучит подозренье;
Бедою всюду, здесь и там,
Ему грозит воображенье;
И Борский прав, — в тот вечер он
Заметил странное смущенье
В Елене; долго устремлен
Был взор ее на месяц полный,
Когда он шел из-за Днепра
И сыпал искры серебра
На отуманенные волны;
Казалось — в тягость было ей
Сиянье месячных лучей,
Она горела и бледнела,
И озиралася вокруг,
И на Владимира глядела
С каким-то страхом. Лунный круг
Уж был высоко в небе темном,
Когда забылась сном она —
Но сон не тих — сохранена
В лице измученном и томном
Печать тоски, — дрожат уста,
Дыханье трепетно и знойно
И сердце бьется беспокойно...
Ах! видно страшная мечта
Ее тревожит: — да! ей снится,
Что сумрак вечера ложится
На Днепр и рощу — и она
Проходит в роще той одна;
Вдруг слышит голос — «он, о боже!
Владимир здесь! но это кто же!

Она! так точно! узнаю
Я в ней соперницу мою!..»
И вот с отчаяньем к супругу
Елена бросилась — но он,
Внезапным гневом распален,
Ее отталкивает руку
И удаляется. —
Луна
Из растворенного окна
Теперь блеснула, — свет бродящий
Упал на грудь Елены спящей —
И что же? — вдруг встает она,
Как призрак, в сумраке проходит,
И тихо стала у окна.
Всё видит Борский — он не сводит
С нее дозорливых очей,
Он притаился, он чуть дышит.
Вот слышит шопот — и ясней
Потом Елены голос слышит:
«Мой друг! постой! постой! побудь
Со мной еще одно мгновенье!
Позволь прижать уста и грудь
В последний раз! — Мое моленье
Ты отвергаешь — ты молчишь!
Жестокий! стой! Куда бежишь?
Я за тобой готова всюду,
Какая б ни была страна,
Пусть там и я с тобою буду!..»
И вот к дверям бежит она,
Ключ щелкнул — двери заскрипели;
Но, в исступленьи, вдруг с постели
Вскочил Владимир, — засиял
При свете месяца кинжал

Над ним висящий — на супругу
Как молнья, взор его сверкнул
И нерешительную руку
Какой-то демон подстрекнул. —
«Стой! грянул голос — стой! не дале!»
И вдруг блеснуло лезвее,
И кровь Елены на кинжале —
И рана в сердце у нее!

Но что ж Владимир? Исступленный
Он дале в бешенстве бежит;
Кинжал трепещет и блестит
В руке, луною озаренный:
Нет жертвы боле! — Всё кругом
Объято крепким, мертвым сном.
Владимир стал — блуждают очи —
Не сон ли это! мыслит он
И близ себя, в молчаньи ночи,
Болезненный он слышит стон...
«Елена!» Нет! воззванье тщетно!
Ее объемлет смертный хлад,
И на убийцу мутный взгляд
Она возводит безответно; —
Ей миг один страдать и жить, .
Но от супруга хочет скрыть
Одолевающую муку,
Насильно хочет приподнять
Почти бесчувственную руку,
Чтоб рану жгучую зажать.
Напрасно! — Снова опустилась
Рука на землю тяжело, —
Бледнеет видимо чело,
И грудь болезненно стеснилась...

А он? Убийца! он стоит,
Недвижен взор, ужасен вид, —
В его руке окровавленной
Рука Елены — но она
Уже недвижна, холодна,
И костенеет постепенно...

ЖРЕБИЙ

К чему печальное сомненье?
Загадка жизни решена...
Мне указало провиденье,
Какая участь мне дана!
Любви и славы и свободы
Люблю таинственный призыв,
И для меня язык природы
Обилен и красноречив!..
Ему внимая, сердце бьется,
Всей жизнью юною своей,
И тихо из души моей,
Сама собою, песня льется.
Предав судьбе мой светлый век,
Я об одном молю у рока,
Чтоб умереть не мог до срока
Во мне поэт и человек!

ВЕЧЕР

Мой друг! прижмись к моей груди,
Не убегай от взоров страстных,
И от очей твоих прекрасных
Густые кудри отведи.
Смотри: там солнце потухает,
По небу темному едва перебегает
Станица легких облаков,
И тень легла на скат холмов
И тихо всё... Теряясь в наслажденьи,
Я чувствую, я слышу в отдаленьи
Созвучье стройное миров...
Но ты недвижна, ты без слов,
Погружена в унылое мечтанье,
Печально взор потуплен твой,
И под ресницею густой
Слезы приметно трепетанье...
Скажи, мой друг, воспоминанье
Тоскою грудь твою теснит.
Или о будущем неясное гаданье
Тебя тревожит и томит?
О не страшись! томительным сомненьем
Своей души не предавай,
Живи минутным наслажденьем
О том, что ждет нас, не гадай!

Быть может (вверимся судьбине)
Наш день безбурно пробежит,
И так же радостно, как ныне,
Наш тихий вечер догорит.

НА РАЗВАЛИНАХ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ В КИЕВЕ

Зачем тревожить сон гробов,
Могил священное молчанье,
И поверять бытописанье,
Стряхая с камней пыль веков?
Все та же истина: от века
Иной нам опыт не открыл,
Мы видим крепость вышних сил
И всю ничтожность человека!
А время! Кто его сочтет?
Оно до нас существовало,
Исчезнем мы — оно сольет
С своим концом свое начало,
Как на граните гробовом
Змея, согнутая кольцом!

ФИРДУСИ

Любимый гордым властелином,
В садах гарема ходит он,
Одеждой пышной облачен,
В чалме, увенчанной рубином.
К его напевам клонит слух
Славолюбивый повелитель;
Где он, там радостнее вдруг
Гарема грустная обитель!..

Но день величия бежит,
Как день печального забвенья. —
Певец! певец! и ты забыт
И носишь иго посрамленья!
Пески, пустыни исходив,
Влечешь ты дни свои как цепи,
И, как безжизненные степи,
Ты стал и дик, и молчалив.
Молил ты смерти — и рыдая
Внимал мольбе твоей отец,
Но усладила ль твой конец
Слеза участия родная?..
Скажи, певец, что слава? — «Дым!»
Людей мудрец холодный учит —
О нет! кто славой был томим,
Без славы жизнию наскучит!

ОТВЕТ

Не говори — завиден дар
И вдохновение поэта,
Не вечен в нем священный жар,
Им грудь не часто разогрета!
Как много дней цветущих он
В бесплодных замыслах утратит,
И редко вдохновенный сон
Его создания освятит.
В мир необъятный, в мир иной
Перелетя воображеньем,
На мир существенный с презреньем
Глядит, как житель неземной,
И часто грудь его страдает:
Не зная радостей земных,
Он их надменно отвергает,
А заменить не может их.

СТРАННИКИ

Два странника приходят в Рим:
На каждом рубище простое
И каждый голодом томим,
Изнемогая в летнем зное.

На перекрестке стал один
И робко молит: ради неба,
Прохожий, будь христианин,
Я весь измучен, я без хлеба!

И взор страдальца выражал
Надежду, страх, и стыд, и муку,
Но жадно трепетную руку
Он к подаянью простирал.

Как будто чужд сей тяжкой доли,
Другой, недвижен и угрюм,
Стоял, исполнен важных дум,
Возведши взор на Капитолий...

Лета вращались чередой
В воображении кипящем,
Казалось, зрел он в настоящем
Завет минувшего святой;

И как во сне, веков пучина
Разверзлась с шумом перед ним,
И Рим могучий, древний Рим
Блеснул в профире властелина.

И странник с жадностью припал
К стопам священной тени Рима...
И кто б в пришельце не узнал
В тот миг творца Ерусалима!

ПОРТРЕТ

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: гурия пророка
С небес на землю сведена!
Коса и кудри темнорусы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей,
И тихий звук ее речей
Рождает негу и желанья
В груди тоскующей моей.

ПРИРОДА

Цветет она розой, летит мотыльком,
В дубровах, долинах поет соловьем,
Могучей пятою колеблет гранит,
И брызгами в пропасть с утеса летит.
Из снов развивает блестящую цепь,
Дыханьем волнует песчаную степь,
Сливает свой голос с напевом духов
И радугой блещет в дыму облаков,
Над бездной воздушной чертог создает,
И мысль человека и сердце зовет.
Но видима всюду, но всюду слышна
Лишь издали манит и кличет она;
Кто ж близко подходит, познаньем томим,
Волшебница бездну разверзнет под ним!

ГУРИЯ

«Не ходи на поле битвы,
Не точи свой ятаган!
Не спасут тебя молитвы
В туче стрел от едких ран.
Милый друг, там за пророка
Долы целые в крови:
Не ходи ж на встречу рока,
Осуши слезу любви!»

И рабе своей покорный
Воин-юноша внимал,
И в раздумьи локон черный
Ей свивал и развивал:
Потухает жажда брани,
В сердце крадется печаль, —
И скользит из жаркой длани
Недоточенная сталь.

Вот и вечер темнокрылый
На сады, на волны, пал:
Одалиски, сердцу милой,
Грустный друг не покидал;
Их застал и час полночи
С грудью грудь; горят уста,
И смыкает сладко очи
Утомленная чета.

Но, как с неба голубого
Сходит сонм ночных светил,
Очи воина младого
Сон волшебный посетил:
Снилось, кто-то в море злата
Пролетел и вдруг исчез;
Но с восхода до заката
Он раздвинул свод небес;

И в сияньи сходит дева:
Кудри в радужном венке,
Ветвь божественного древа,
И фиал в ее руке.
Стан в дыму прозрачной ткани,
Бел, как снег на теме гор;
Грудь, как волны, очи лани,
Но упреком блещет взор.

Воин медленно подъемлет
Полусонную главу.
Пробудился он иль дремлет —
Он не помнит; наяву
Перед ним всё та же дева,
Тот же блеск со всех сторон;
И, как стройный звук напева,
Голос девы слышит он;

«Не страшись. Я дева рая,
Я, на легких крыльях сна,
Из надсолнечного края
В здешний мир занесена.
В звездном хоре одиноко
Я полет свершаю мой,

И поклонника пророка
Жажду страстною душой.

«Как недвижные светила
Вечен блеск красы моей:
Время, горе и могила
Тратят власть свою над ней;
От моих лобзаний тает
Сердце в пламени любви,
И угасший воскресает
Огнь желания в крови.

«Но того с двойной любовью
Примет гурия на грудь,
Кто в боях своею кровью
Освятил пророка путь.
О, покинь, кого ты любишь!
Стань под знаменем святым!
Ты небесное погубишь
Наслаждением земным!»

Смолкла. Ризой серебристой
Обвилась, и вся в лучах,
Как алоя пар душистой,
Утонула в небесах;
И за ней палящим взором
Воин вслед; душа полна
Страстью новой, и укором
Грудь порою стеснена:

На подругу взводит очи, —
Но не к ней любови огнь!
Он встает. Под кровом ночи

Тихо выведен им конь.
За плечами лук и стрелы,
Ятаган за кушаком.
И понесся воин смелый
На свидание с врагом.

День зажег края востока, —
Прытче конь, и скоро он
Под знаменами пророка
Ездоком остановлен.
Миг вздохнул и вновь летучий
В бой помчался с седоком.
И, как в бурю туча с тучей,
Воин встретился с врагом.

Вдруг удар! Облитый кровью
Он падет на груды тел.
Смерть над ним; но к изголовью
Кто-то светлый подлетел.
Он взглянул: то дева рая!
Всё в ней блеск и красота;
И зажглися, умирая,
И прильнули к ней уста...

ГЕНИЙ

Ниц завистливое око,
Прочь коварные силки!
Я далеко, я высоко,
Крылья сильны и легки.
Пусть недвижно всё в тумане,
Пусть земля объята сном,
Встречусь я один заране,
Первый, с солнечным лучом!

ДЕВИЧЬ-ГОРА

Есть курган над Днепром,
Терем крепкий на нем,
По углам златоверхие башни;
Неподвижен и тих,
Лес на ребрах крутых,
И вокруг ни жилища, ни пашни.

Но вечерней порой,
Меж дерев над рекой,
Пробегают какие-то тени;
То играют в волнах,
На сребристых челнах,
То качают зеленые сени.

И далеко окрест,
При сиянии звезд,
Раздаются волшебные звуки:
Про веселье одна
Напевает струна,
А другая о горе разлуки...

И в народе молва:
Там цветет сон-трава,
Это место от века заклято;
Там под грудой костей,

Схоронил чародей
Нажитое неправдою злато.

Но из княжих дружин
Богатырь не один
Вызывался на смелое дело;
В лес входил — и назад
Без главы и без лат
Отплывало Днепром его тело...

И никто, с давних пор,
На таинственный бор
Не возводит без трепета взора.
Но за веру и честь
Витязь в Киеве есть,
Всей дружины любовь и опора!

Он прекрасен и юн,
Он касается струн,
Как певец вдохновенный в Элладе,
И святой монастырь
Посетил богатырь,
Но крещенье принял в Цареграде.

В битвах он впереди,
Крест златой на груди,
(Придает он воителю силу)
И средь гибельных сеч,
Где блестит его меч,
Там заране копайте могилу!

Много дев, много жен,
Наяву и сквозь сон,

В теремах о прекрасном тоскуют;
Их напрасна любовь:
Богатырскую кровь
Только думы о славе волнуют.

Вот глядите, один,
На коне меж стремнин,
Над рекою Днепром он несется; —
Пыль летит от копыт,
Дальний берег дрожит
По расселинам гул раздается...

День бледнел, день погас,
Это вечера час,
И куда ж богатырь в эту пору?
Что до ночи? до дня?
Он торопит коня,
Подъезжая к волшебному бору.

Но не туча ль к нему,
Вся в огне и в дыму,
Вылетает со свистом навстречу?
Захрапел его конь,
Но без страха в огонь,
И без трепета всадник на сечу...

И рассеялся дым,
Исполин перед ним,
Весь окован в железные латы —
Зазвенела броня,
Конь, как вихрь, на коня —
И сшибаются разом булаты...

Равен бой; великан
Свирепеет от ран,
Все сильней и сильней напирает.
Вдруг сиянье окрест —
Месяц всходит — и крест
На груди озаренной сияет...

Что же враг? он назад,
Он роняет булат,
Ослепленный чудесным сияньем,
С воплем бросился в лес,
И во мраке исчез
И опять все объято молчаньем.

Победитель вперед —
Вот и терем с высот
Забелел между башен зубчатых,
Колья вбиты вокруг,
И на них ряд кольчуг
Да черéпы во шлемах косматых...

Вот ворота, затвор
Упадает, и в двор
Богатырь наш въезжает широкой;
Все светло при луне,
Но мелькает в окне
Свет не лунный из башни высокой...

Вот с навесом крыльцо,
У навеса кольцо,
И к кольцу крестоносец подходит;
Чуть коснулся — и звук
Раздается вокруг,
Хор невидимый песню заводит...

Всё очнулось кругом,
И по терему гром,
Огоньки пробегают и тени, —
Но без страха вперед
Смелый витязь идет,
Под ногой зазвенели ступени.

Вот обширный покой,
Озаренный луной,
Вот с ним рядом другая светлица;
Тихо всё, лишь порой
По бокам, за спиной,
Появляются страшные лица.

Витязь далее — свет
То забрезжет, то нет,
Чуть блеснет и исчезнет мгновенно,—
Разом хлопнула дверь,
Витязь к ней — и теперь
Он в светлице кругом озаренной...

Чуден, пышен убор,
Никогда его взор
Не встречал столько перлов и злата:
Там восточная ткань,
Там алмазная грань,
Всем богатством светлица богата.

Посредине навес,
Цвет прозрачный небес
Отразился на ткани лазурной;
Будто солнце, на нем
Что-то блещет огнем,
Всюду свет разливая пурпурный.

Изумлен, ослеплен,
Витязь мыслит: то сон!
Но невольно подходит к навесу,
И коснулся слегка
Золотого снурка,
И по кольцам раздвинул завесу.

И клубясь перед ним,
Из курильницы дым
Ароматом повеял — и что же, —
Он не ведает сам,
Верить, нет ли очам, —
Под навесом роскошное ложе!

Витязь, витязь! зачем
Ты недвижен и нем?
Твое сердце боязни не знало.
То неведомый страх.
Как огонь на щеках
Разгорелось стальное забрало...

Как создание грез
Краше лилий и роз,
Перед витязем дева младая;
У ланит, у плечей,
Вьются кольца кудрей,
На лебяжую грудь упадая.

На подушку она
Головой склонена,
Ей сребристая дымка покровом,
И под дымкою стан,
Как цветок сквозь туман,
Обозначен на ложе пуховом.

Что ж молчит красота?
Неподвижны уста,
Ей дыханье груди не колышет...
Видно спит — и сквозь сна
И чужого она
В час полночи прихода не слышит!

Миг проходит — смелей
Витязь близится к ней,
Он влюблен — он не вынесет доле,
И кипит и горит
И от жарких ланит
Он забрало отвел поневоле.

И коснулась рука,
Девы спящей слегка,
Что ж он вдруг побледнел, цепенеет?
Сердце девы не бьет,
Грудь красавицы — лед!
От прекрасной могилою веет.

Но не сводит он с ней
Неподвижных очей,
Всё в ней душу любовью волнует,
И чуть смея дохнуть,
Он припал к ней на грудь,
Охладелые очи целует.

Вдруг с груди боевой
Крест повис золотой
И коснулся он персей девицы...
И не чудо ли? вновь
Загорелась в ней кровь,
Поднялися густые ресницы.

И томна, и бледна,
Долго смотрит она,
На младого пришельца стыдливо,
И лилейною рукой
Свой покров голубой
Надвигает на грудь торопливо.

Но как будто от сна
Вдруг воспрянув, она
На колени пред витязем пала.
«Избавитель, постой!
Доверши подвиг свой,
Без тебя я бы вечно страдала!

Мне за грех наведен
Смертный, тягостный сон,
Здесь ужасною жизнью жила я!
Лишь менялись мечты,
Средь ночной темноты,
И страшнее одна, чем другая...

Твой могучий удар
Не разрушил бы чар,
Все чары твой крест разрушает —
Ах, отдай мне его,
Мне не жить без него...
Видишь, сон мои вежды смыкает...»

Деву вдруг óбъял сон;
Богатырь изумлен.
И доселе не верит он чуду. —
«Вот мой крест, — наконец
Восклицает пришлец, —
Да хранит он прекрасную всюду!»

Крест снимает, потом
На объятую сном,
Золотую он цепь налагает, —
От волшебного сна
Вновь очнулась она,
И веселье во взорах блистает...

Вдруг потухли огни —
Всё утопло в тени,
Раздается по терему грохот,
То пронзительный звук,
То стенанье и стук,
То русалок насмешливый хохот.

Разом синим огнем
Терем вспыхнул, и гром
Под землей прокатился трикраты;
Стены зыблются, свод
И трещит и падет,
И рассыпались башни зубчаты...

Ночь минула, рассвет...
Что же витязя нет?
Где же терем и башни и стены?
Всё исчезло, лишь с гор
Смотрит сумрачный бор
На плывущее тело меж пены...

Есть преданье: с тех пор
Тот таинственный бор
Обитала отшельница дева.
Кто-то видел, одна
Там молилась она,
Над рекою, под сению древа.

Много минуло лет,
И молельщицы нет;
Сохранили преданье напевы,
И курган над рекой
Был Девичьей горой
Назван в память отшельницы-девы.

СОНЕТ

Не потому томительным виденьем,
Во снах твоих блуждает образ мой,
Что, может быть, с тоскою и волненьем
Ты обо мне подумаешь порой,

Но оттого, что часто с напряженьем.
В ночи без сна, к тебе стремлюсь мечтой,
И увлечен я весь воображеньем
И с сном твоим сливаюся душой.

Прости меня! Невольной, неизбежной,
Я предаюсь мечте моей вполне,
Я бы хотел, чтоб призрак мой мятежной

Не говорил о милой старине; —
Но ты простишь: не ты ль сама так нежно
Об этих снах рассказывала мне!..

СОНЕТ

Свинцовым туманом натиснуто море,
В дремоте бессильной раскинулся вал,
Он юношей буйным гулял на просторе —
Его, как младенца, туман вспеленал.

Подобно туману безмолвное горе,
Когда с ним бороться страдалец устал,
Тот гордый страдалец, кто в медленном споре
Терпеньем и волей судьбу раздражал.

Но ветер развеял туман темнокрылый,
Свободна, как прежде, воздвиглась волна,
И меряет с ветром отвагу и силы.

Минует и горе — но тяжкого сна
Следы остаются в душе до могилы,
И мысль против рока восстать не сильна!..

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Что в сыром бору от солнышка
Снег златой росой рассыпался,
Молодецкая кручинушка
Разлилась слезами светлыми;
В зимний холод любо солнышко,
На чужих людях родной напев,
Поневоле сердце всплачется,
Как с ретивым сиротинушкой,
Песня русская, унылая,
Что родная мать перемолвится.
Задушевной не наслушаться!
Словно пташка, что в раю поет,
Заунывно сладким голосом,
Грусть-тоску она баюкает;
Не видать сквозь слез чужой земли,
А что думушка ль сердечная
Понесется невидимкою,
За синé море в святую Русь!..
По былому по старинному
Добрый молодец в родной земле,
В ноги пал отцу и матери,
С старым другом поздоровался,
А что девица-красавица
Второпях бежит из терема,

Зарумянившись как маков цвет,
Радость высказать и слова нет,
Только с милым обнимается,
Да сквозь слезы улыбается.

ПОЭТУ

Не смей себя именовать поэтом,
Не призывай благословений муз,
Пока еще ты очарован светом,
Пока с людьми корыстен твой союз;
Хвалою их и лестью избалован,
Ты дани им постыдные несешь,
И, раб чужих страстей, притворно ты
поешь,
И чуждой прихотью твой смелый ум
окован.
Но если хартию святую бытия
Ты развернул бестрепетной рукою,
И не прельщен ни лестью, ни молвою,
Нам высказал все таинства ее,
Когда твое испытанное око
Природы грудь проникнуло глубоко,
И, отделив себя волшебною чертой,
Ты стал посредником меж нею и
толпой, —
Тогда молись богам! Иди на подвиг
славной,
Исторгни говор струн рукой
самодержавной,
И верь, твой каждый звук могуществом
своим
Как солнца жаркий луч земле необходим!

СТИХ

Не жажда имени, не гордое желанье
Привлечь к себе толпы невольное
вниманье,
Не мысль надменная за гробом, может
быть,
В моих созданиях мой пепел пережить,
Тревогою меня томят и мучат знойной
И вырывают стих из груди беспокойной...
О нет! Он льется сам, он звук моей души,
От ней оторванный, но слышный мне в
тиши;
Он в образ облечен, он стонет, он тоскует
И грустью веет он и жалобой волнует
И будто просится в мою он снова грудь,
Чтоб навсегда потом в забвеньи утонуть.
Но как волне в исток, но как лучу к
светилу,
Возврата нет ему в желанную могилу,
А я люблю его, а я бы не хотел,
Чтоб он исчез как дым, как призрак
улетел,
Пускай еще живет, ему приют найду я,
Есть сердце, есть душа, которые люблю я,
Там будет принят он, там будет он любим.
Как память, как залог моей души храним,

Незримый, о себе напоминать он станет;
То ласковой ко мне улыбкою проглянет,
То легким пробежит румянцем на щеках,
То вспыхнет негою в пленительных очах,
И вздохом окрылен, трепещущий,
стыдливый,
Сольется с шопотом любви моей
счастливой —
Или, со временем, давно забытый мной,
Печальный, он блеснет понятною слезой...

МЕЛОДИЯ

Когда я умру, схороните меня
Вдали от кладбищ, одиноко,
Под сенью широкой столетнего пня,
И холм мне насыпьте высоко.

Гробницы печалью тревожат народ, —
От скорби ж пускай отдохну я,
Пусть лучше украдкой любовь принесет
Мне шопот и звук поцелуя...

Я прахом рассыплюсь, я буду землей,
Но чувство, кто знает, утрачу ль,
Кто знает, любовью не вздрогну ль чужой,
Отрадной слезой не заплачу ль?

И все, что напрасно пылает в крови,
Чем сердце напрасно томится,
Под сладостный говор счастливой любви,
Быть может, в могиле приснится.

БАЛЬНЫЙ ПРИЗРАК

Вальса резким, быстрым звуком
Дрогнул в воздухе смычок,
И понесся бурным кругом,
Жизнью вспыхнувший кружок.
Как цветы, что ветер косит,
И, кружа, вертит и вьет,
Вкруг меня рой женщин носит
Вальса огненный полет;
Мне роскошно кудри веют,
Ножки по следу влекут,
Мимолетом перси греют,
Мимолетом очи жгут...
Взглядом прелесть их ловлю я,
Мысль им общий вид дает,
И красавицу творю я
Из разбросанных красот:
Кудри, ножки, перси, очи,
Все слилось в одну мечту,
Я из них для страстной ночи
Создал чудо-красоту!..
Тольку душу где возьму я,
Чтоб созданье оживить,
Чтобы, грудь мою волнуя,
И она могла любить?..
И слежу я вновь тревожно:

Эти очи и уста —
Все искусственно, все ложно,
Все наряд и суета!
Ни в улыбках, ни во взорах,
Чистотой огня дыша,
Ни в блестящих разговорах
Не сказалась мне душа.

Отгрянуло в безднах творящее Слово,
Стихии, как волны, кипят,
Сошлись — разделились — и жизнию новой
В несчетных светилах горят...
Все к цели стремится; один, в беспре-
рывном
Волненьи, без цели гоним,
Один, бесприютный, в создании дивном,
Отпадший летит Серафим.

Куда бы смущенным ни кинул он
взором —
Повсюду пред ним чудеса:
Вот катятся звезды бесчисленным хором,
.Осыпав кругом небеса,
Вот солнце стремится — он бросился
мимо —
Другое навстречу летит
И сонм их блестящий ему нестерпимой
Создателя славой звучит.

К земле опустил он с отчаяньем взоры —
Весну торжествует земля:
Цветами пахнули долины и горы,
Цветами сверкнули поля!

И желчные слезы с ланит его бледных
В цветы, мимолетом, скользят —
Те слезы и ныне в цветах этих бедных
Отравой смертельной горят!

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Ходят горемыки
Из села в село,
Под убогой ношей,
Спины уж свело.

Оба кавалеры:
На одном медаль,
На другом Егорий,
А глядет-то жаль;

Этот деревяшкой
Только стук да стук,
Тот и всем бы парень —
Рукава без рук.

Изморозь ложится
Белой пеленой,
Передрогли кости,
Просят на покой...

«Ну-тка, прытко765ногий
Маршируй, небось!
Постучись в оконце,
Отопрут авось»...

Заспанная рожа
        Воззрелась на них:
«Проходите с богом,
        Много вас таких!» —

«Ась? Что взял, кулачник?
        Вся-те не долга:
Стала у народа
        Память коротка»...

Глядь — на жерди штофик —
        Холод, ночь теперь —
Крякнули калеки,
        И юркнули в дверь...

ОТРЫВОК ИЗ САТИРЫ

«БАГРЯНОВИДНАЯ ЗАРЯ»

1

Замучила осень до смерти;
Дождливые бури шумят;
Не только что люди — и черти
От холода, ежась, дрожат.

2

Погреться бы надо — известно:
Забраться бы в адскую печь;
Да стало от грешников тесно,
Нигде ни присеть, ни прилечь!

3

И демоны в страхе и горе
Не знают, куда и бежать,
А им ведь приходится вскоре
Еще окаянных прибрать.

4

Все доброе стало непрочно,
Умы помутились у всех,

И люди, как будто нарочно,
Друг друга толкают на грех.

5

Без смысла в судах приговоры,
А вывод их ясно таков,
Чтоб крупные множились воры
Среди ободренных воров.

6

В толпе ж нигилисток не мало,
Венчать они рады позор;
И гордо выходит из зала,
При плесках, отъявленный вор.

7

Запретными, древле, плодами
В паденье ввел бабушку змей,
Теперь просветилися дамы,
Им надо соблазн похитрей...

8

В ход моду пустили злодейку
И вымысел вышел не прост:
Бедняк трудовую копейку
Отдай на турнюру и хвост!

9

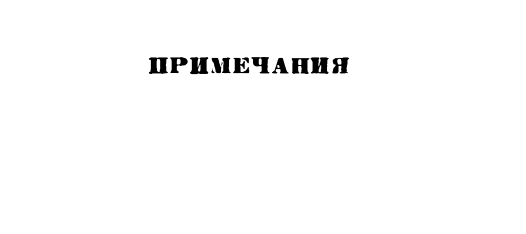
Нет денег — упреки!.. и муку
Не выдержит долго супруг —
И глядь святотатственно руку
Запустит в казенный сундук!

10

К другим обратитеся лицам:
Чем блещет у нас молодежь?
Букеты каскадным певицам
Бросает из кресел и лож,

11

Презрительно смотрит на власти,
Кичась недозрелым умом,
И режет Россию на части —
В руках с биллиардным кием...



ПРИМЕЧАНИЯ

И. КОЗЛОВ

В настоящем издании стихи И. И. Козлова печатаются по тексту издания 1840 г., с рядом исправлений по журнальным редакциям и по прижизненным сборникам стихотворений. Тексты расположены в порядке, принятом самим Козловым для его изданий.

Чернец. Напечатано в 1825 г. В своей статье о сочинениях Козлова Белинский говорит о «Чернеце»: «Слава Козлова была создана его «Чернецом». Несколько лет эта поэма ходила в рукописи по всей России, прежде чем была напечатана». Козлов работал над поэмой несколько лет и к 1824 г. довел ее до окончательного вида. «Чернец» Козлова может быть назван одним из ранних представителей в России жанра байронической поэмы. Современники справедливо отмечали, что он является подражанием «Гяуру» Байрона. О влиянии на поэзию Козлова Байрона см. во вступительной статье. Последняя глава «Чернеца» заимствована Козловым из «Мармиона» Вальтера Скотта.

К другу В. А. Ж[уковскому]. Напечатано в 1825 г. вместе с «Чернецом». Написано после возвращения Жуковского из заграничного путешествия, т. е. в начале 1822 г.

Альпийских ветров слушал вой и т. д. — Во время своего путешествия по Европе Жуковский посетил также и Швейцарию. *Светлана* — племянница В. А. Жуковского, Александра Андреевна Воейкова, урожденная Протасова (умерла в 1829 г.), которая приняла в слепом поэте участие. Козлов посвятил ей ряд стихотворений и посланий в стихах. *Карамзина читаем* — «Историю Государства российского» Н. М. Карамзина. *Когда над Ниною твоей* — стихотворение Жуковского «Послание к Нине».

Послание «К другу В. А. Ж.», в котором Козлов рассказывает историю своей слепоты, напечатанное в качестве «прибавления» к «Чернецу», было встречено критикой очень сочувственно. В 1827 г. при третьем издании «Чернеца» рецензент «Московского Вестника» (1827, ч. VI) уже прямо отдает предпочтение посланию перед «Чернецом». Эту точку зрения высказывал ранее Пушкин в своем, цитированном в статье, письме к брату 1825 г. Он писал: «Послание, может быть, лучше поэмы, — по крайней мере, ужасное место, где поэт описывает свое затмение, останется вечным образцом мучительной поэзии».

А к е р м а н с к и е с т е п и. Напечатано в 1828 г. Стихотворение — перевод сонета из цикла «Sonety Krymskie» (Крымские сонеты) польского поэта-романтика Адама Мицкевича (1798—1855).

Жду голоса с Литвы. — Литва — родина Мицкевича. В 1823 г. в Вильно Мицкевич был арестован царским правительством и в 1824 г. был отправлен под конвоем в Россию. В России он пробыл до 1829 г., несколько раз меняя место жительства, в частности побывал и в Крыму. Мицкевич был лично знаком с Козловым и бывал у него. Переводом своих «Крымских сонетов», сделанным Козловым, Мицкевич был недоволен (см. вступительную статью). *Акерманские степи* — в Бессарабии.

Н а п о г р е б е н и е а н г л и й с к о г о г е н е р а л а с и р а Д ж о н а М у р а. Напечатано в 1826 г. Стихотворение — перевод написанных ирландским поэтом Чарльвом Вольфом (1791—1823) в 1816 г. знаменитых стансов: «The burial of sir John Moore» (Погребение сэра Джона Мура), — единственного произведения, сохранившего имя автора для потомства. Джон Мур (1761—1809) — известный английский генерал, был главнокомандующим английскими войсками в Португалии в войне с наполеоновской Францией. Был убит в сражении при Корунье и согласно

своему желанию похоронен на поле битвы, где он одержал победу над армией Наполеона. *Перун вестовой* — гром пушки.

Венецианская ночь. Напечатано в 1824 г.

Брента — река в Италии, впадающая в Венецианский залив. *Октавы Торквато.* Октавы — стихотворная строфа, состоящая из восьми стихов с определенной системой рифмовки. *Торквато* — Торквато Тассо (1544—1595), итальянский поэт. *Баркаролла* — любовная песнь, которую поют венецианские гондольеры в такт взмахам весел. Баркаролла в музыке — музыкальная форма с медленным и плавным ритмом.

Петр Алексеевич Плетнев (1792—1865)— критик и профессор СПб. университета.

Плач Ярославны. Напечатано в 1825 г. Стихотворение — перевод плача Ольги Ярославны по своему мужу князю Игорю, — из «Слова о полку Игореве».

Княгиня З. А. Волконская — см. прим. к стихотворению «Княгине З. А. Волконской».

Княгине З. А. Волконской. Напечатано в 1826 г. Стихи посвящены кн. Зинаиде Александровне Волконской (1792—1862). В 20-е годы XIX в. был знаменит ее литературный салон, который посещался крупнейшими писателями,

художниками и музыкантами. Этот салон, был средоточием артистической жизни Москвы, и З. А. Волконская часто выступала на вечере у себя в салоне в качестве певицы.

«Пери» — в религии древних иранцев (зороастризме) — женские существа, духи. *Кашемир* — область в Индии. Собственно Кашемир, или Кашмир, — обширная долина около Гималаев. Самый образ «пери из долины Кашемира» заимствован Козловым из поэмы английского поэта — романтика Томаса Мура (1789—1852) «Lallah Rookh» (Лалла-Рук), которая стала широко известна в России в 1821 г., когда члены царской семьи приняли участие в живых картинах по сюжету «Лалла Рук», представленных на празднествах в Берлине. Тогда же, т. е. в 1821 г., песню из «Лалла Рук» («Пери и ангел») перевел и напечатал в России В. А. Жуковский.

Разбойник. Напечатано в 1825 г. Написано 6 января 1825 г. Стихотворение — свободный перевод баллады «Song» («Песня») Вальтера Скотта (1771—1831) из его поэмы «Rokeby».

Сон ратника. Напечатано в 1833 г. Имеется в виду взятие турецкой крепости Варны русскими войсками в сентябре 1828 г.

Обворожение. Напечатано в 1828 г. Стихотворение — перевод монолога духа из 1-го явления первого действия байроновского «Манфреда».

Князь Петр Андреевич *Вяземский* (1792—1878) — критик, поэт и соратник Пушкина в литературе.

Романс. Напечатано в 1823 г. Стихотворение — свободный, сильно распространенный перевод романса из «Lallah Rookh» (Лалла Рук) Томаса Мура «There's a bower of roses by Bendemeer's stream».

Пленный грек в темнице. Напечатано в 1822 г. Стихотворение написано об Александре Ипсиланти (1783—1828).

Ипсиланти — греческий вождь, в 1821 г. поднял восстание против турок, после первых неудач бросил своих сотоварищей (которые все погибли) и бежал в Австрию, где был заключен в тюрьму (с 1821 по 1827 г.). Освобожден был по ходатайству имп. Николая I. Движение за независимость Греции пользовалось в 10-е и 20-е годы в России самой широкой симпатией в самых разных кругах общества — и в правительственных и в декабристских.

Ирландская мелодия. Напечатано в 1825 г. Стихотворение — перевод романса Томаса Мура: «At the mid hour of night» («В час полночный»).

Вечерний звон. Напечатано в 1828 г. «Вечерний звон» — перевод стихотворения Томаса Мура: «Those evening bells» (Air — The Bells of St-Petersburgh).

Источником стихотворения Мура послужили стихи грузинского писателя XIII в. Георгия Мтацминдели — настоятеля Афонского монастыря (см. о нем у А. Хаханова в «Очерках по истории грузинской словесности», т. II, 1895, стр. 81. Хаханов ссылается на историка русской церкви Калиновского, который неправильно полагает, что Козлов передал в своем «Вечернем звоне» грузинский текст). Стихи Мтацминдели «Mtsuhrissa Zari» были написаны им по-гречески, тогда же положены на музыку и распространились из Афонского монастыря по России и по христианскому Востоку как духовная песня. Видимо, до Мура это стихотворение дошло через какие-нибудь из России исходящие источники. Этим объясняется подзаголовок, который он дал своему подражанию: «Air — the bells of St-Petersburgh». Указанием грузинского источника я обязан Е. Б. Вирсаладзе.

К полевой маргаритке... Напечатано в 1835 г. Стихотворение — перевод стихов народного шотландского поэта романтика Роберта Бёрнса (1759—1796): «To a mountain daisy, on turning one down with the plough in april 1786».

Сон. Напечатано в 1831 г.

Графиня Фикельмон, Дарья Федоровна (урожденная гр. Тизенгаузен), жена австрийского посла в России, поддерживала связи с литераторами аристократического круга, близко знала Пушкина и других писателей его круга. *Перевод эпиграфа:* «И видение мое переменилось» (стих. из «Сна» Байрона). *Дант* — Данте Алигиери (1265—1321) — итальянский поэт, автор «Божественной комедии». В «Божественной комедии» Данте рассказывает, как, руководимый знаменитым римским поэтом Вергилием, он спустился в ад и увидел разные мучения грешников. «*Страна мученья*» — ад. *Фаринат* — Фаринато дельи Уберти — флорентинец-гибеллин (стоял на стороне императоров в их борьбе с римскими папами). Данте поместил его в «Божественной комедии» в аду, зарытым до пояса. *Уголино* был правителем Пизы. Заключенный со своими двумя внуками и двумя сыновьями в башню, после смерти своих детей, от голода съел их трупы. Данте поместил его в своей «Божественной комедии» в аду. *Франческа* — Франческа да Римини, (рожденная да Полента), была убита в 1289 г. вместе со своим возлюбленным Паоло своим мужем Джангиотто да Римини. В «Божественной комедии» в аду Данте встречает две тени неразлучных любовников, — Паоло и Франчески, и Фран-

ческа рассказывает Данте о своей любви к Паоло. *Ланцелот* — английский рыцарь, один из героев круга легенд о короле Артуре и рыцарях «Круглого стола». Легенда рассказывает о его любви к жене короля Артура Джиневре. В «Сне» ряд стихов представляет либо перевод, либо пересказ стихов «Божественной комедии» Данте.

Прости. Напечатано в 1823 г. Стихотворение — перевод знаменитой элегии Байрона «Far the well and if for ewer», написанной им после развода с женою. Элегия вызвала ожесточенную полемику в печати об искренности ее автора.

Кольридж — Самюэль Тэйлор Кольридж (1772—1834) — английский поэт, критик и философ-романтик.

Романс Дездемоны. Напечатано в 1831 г. Стихотворение — перевод романса Дездемоны из «Отелло» Шекспира.

Беверлей. Впервые напечатано в 1833 г. «Беверлей» — подражание балладе Вальтера Скотта «Lockinwar» (Локинвор), из его поэмы «Мармион».

Обманутое сердце. Напечатано в 1834 г. Стихотворение — подражание стихотворению немецкого поэта Иогана Георга Якоби (1740—1814), «Nach

einem alten Liede» (Подражание старой песне), переведенной в России В. А. Жуковским. Перевод напечатан Жуковским в 1827 г. под заглавием «Песня» (Где фиалка, мой цветок) без указания источника. Вероятнее всего, что Козлов подражал не Якоби, а переводу Жуковского.

Байрон. Напечатано в 1824 году.

Перевод эпиграфа: «Я жил и жил не напрасно».

«Не понимаем, — писал Белинский, — почему Козлов никогда не включал в собрание своих сочинений поэмы «Байрон», посвященной Пушкину... Эта поэма есть апофеоза всей жизни Байрона; в целом она не выдержана, но отличается поэтическими частностями». Стихотворение написано под впечатлением известия о смерти Байрона, которая, по словам самого Козлова, «повергла его в горесть, как смерть дорогого сына». В стихотворении рассказана биография Байрона. Основная концепция Байроновой судьбы заимствована Козловым из элегии Байрона «Прости» (см. на стр. 110). Таким образом все содержание стихотворения сведено к задаче лирико-психологической характеристики. Значительность и сила фигуры Байрона и историческая и психологическая у Козлова не передана. Именно поэтому Белинский говорит о «невыдержанности стихотворения в целом».

А. ПОДОЛИНСКИЙ

Настоящее избранное издание сочинений Подолинского включает, с одной стороны, наиболее известные стихотворения поэта, с другой — стихотворения дающие представление о разнообразии литературных влияний, отразившихся в его творчестве.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке. Исключение составляет отрывок из поэмы «Борский», помещенный вслед за поэмой «Див и Пери» не по хронологическому, а по жанровому признаку. В основу текста положено авторизованное издание сочинений Подолинского 1860 г. Последняя вещь — отрывок из сатиры «Багряновидная заря»— печатается по сохранившемуся в библиотеке ИРЛИ оттиску с рассыпанного набора для «Русской Старины».

Див и Пери. Напечатано в 1827 г. Эпиграф взят из сочинения английского востоковеда Жана Ричардсона (1741—1811) «Dissertation of the Language, Literatur and Manners of Eastern Nations» (Рассуждения о языках, литературе и быте

восточных народов). В первом издании поэмы 1827 г. вслед за эпиграфом следовало замечание автора: «Этот восточный вымысел был главным основанием предлагаемой повести». Замечание это не совсем точно. «Див и Пери» является подражанием второй части известной поэмы английского поэта романтика Томаса Мура (1779—1852) «Лалла Рук, восточная повесть» (1817). Вторая часть этой поэмы, озаглавленная у Мура «Рай и Пери» и вполне самостоятельная по содержанию, в 1821 г. была переведена В. А. Жуковским под заглавием «Пери и Ангел». Этот перевод и послужил ближайшим образцом для поэмы Подолинского. У Мура, через Жуковского, Подолинский заимствовал прежде всего основную тему своей поэмы — искупление Пери и возвращение ее в рай. В части общей композиции поэмы и отдельных ее элементов Подолинский также довольно близок к своему образцу. В этом отношении попытка быть самостоятельным не идет дальше замены одних географических названий и исторических имен другими. Так например, *долина Сегестана* вместо *долины Кашемира*; *Чингисхан* — вместо *Махмут-Газны* и т. п. Некоторые же подробности, например размышления Пери над развалинами храма огнепоклонников, Подолинский сохраняет целиком. Наибольшую независимость от Мура — Жуковского Подолинский проявляет в сюжетных

подробностях. Центральный эпизод поэмы— пленение Пери Дивами и борьбы Пери за обращение Дива — основывается на древне-иранских мифологических верованиях. Как в поэме Мура, так и в переводе Жуковского этот эпизод, равно как и самый образ Дива, отсутствует. Однако, Ричардсон, на которого в данном случае ссылается *Подолинский* в эпиграфе, упоминается в примечаниях Мура к «Лалла Рук». Это примечание сохранено и в переводе Жуковского.

Дивами в древнеиранской мифологии именуются падшие ангелы (небесные гении), превратившиеся в злых демонов и составляющие воинство бога зла (сатаны). *Пери* принадлежат также к падшим ангелам, но в противоположность Дивам представляют собой доброе начало. В основе беспрерывных войн между Дивами и Пери лежит извечная борьба бога зла и бога добра, составляющая, согласно древнеиранской мифологии, содержание мировой истории. *Из пределов Сегестана к дальним рощам Хоросана.* Сегестан и Хоросан — провинции Ирана. *Голос керны завывал.* Керна — род военной трубы. *Где неслись ордынцев клики.* Ордынцы — монголы, завоевавшие Иран в XIII в. *И на трупах тот великий, тот ужасный пировал.* Речь идет о знаменитом завоевателе полководце монголов Чингис-Хане — основателе монгольской империи. В первую

половину XIII в. Чингис-Хан завоевал всю Азию и покорил южную Россию. Через Иран полчища Чингис-Хана прошли в 1220—1221 гг. Особо пострадала при этом Хоросанская область. *Но свершилось. Меч Некира*... Некир (в магометанских верованиях) — ангел смерти. *Мрачный дух уединения ходит в сумраке долин.* «На Востоке есть поверье, что всякая пустыня обитаема своим духом-хранителем, которого называют духом уединения» (примеч. автора). *Между камней цвет ночной блещет радужной росой.* «Цветок, называемый естествоиспытателями Nictanthes, разливает свое благоухание по захождении солнца» (примеч. автора). *Вот как Алиевы очи.* Алий — Алох (VII в.) — зять Магомета, основатель шиитизма — магометанской секты, впоследствии обожествлен своими последователями. В Иране после завоевания его арабами (VII в.) шиитизм стал господствующей религией. К этому стиху Подолинский сделал следующее примечание: «Красота очей Алиевых была весьма замечательна у персов. Они говорили: прекрасен как Алиевы очи». *Храмы гебров подымались.* В примечании к этому стиху Подолинский говорит: «Гебры, коренные обитатели Персии, не хотели оставить древней своей веры — учения Зороастра, и по завоевании Персии аравитянами [т. е. арабами. *Е. К.*] были гонимы и принуждены удалиться из оной. Один из

лучших храмов их был в области Хоросанской близ города Герата (древней Арии)». Говоря о гебрах, Подолинский разумеет парсов, последователей Заратустры, бежавших из Ирана в VII в. от мусульманского владычества в Индию. Гебры же составляют хотя и гонимую, но до сих пор существующую в Иране секту последователей Заратустры. *Как в руках окостенелых.* «На Востоке есть и поныне обыкновение давать в руку умерших девиц букеты цветов». (Примеч. автора.) *Как Седжина страж унылый.* Страж Седжина у магометан — страж загробного мира, ведущий запись деяний духов и людей. *Коим Алла отделяет.* Алла — Аллах, бог магометан. *Носят звездные фиалы.* Звездные фиалы, по магометанским верованиям, стоят вокруг райского четырехугольного озера. Из них пьют души праведных. *Гурий страстные лобзанья.* Гурии по магометанским верованиям — вечноюные прекрасные райские девы, услаждающие загробную жизнь праведных. *Над ливийскими песками.* Ливийская пустыня — восточная часть африканской пустыни Сахары. *Если б Эвлис пред творцом.* Эвлис по магометанским верованиям — сатана. *Вечным звуком оживленных гармонических ключей.* Гармонические ключи по магометанским верованиям — источник Хиндара, издает беспрерывно музыкальные звуки. *Дух прелестный Израфим.* Израфим —

вымышленное имя. *День на небе Персистана.* Персистан — правильно Парсистан — юго-восточная провинция Персии. *На платанах вдоль Курхана.* Курхан — иранское наименование Аму-Дарьи, реки, протекающей в Туркестане.

Отрывок из поэмы «Борский». «Борский» — поэма в двух частях, вышла в свет в 1829 г. Печатаемый отрывок составляет третью главу 2-й части.

Для того чтобы читатель мог себе уяснить место этого отрывка в целом поэмы, кратко излагаем ее содержание.

Часть I. Владимир Борский любит Елену, девушку, происходящую из рода, некогда оскорбившего род Борских. Отец Владимира не может забыть обиды, запрещает Владимиру вступать в брак с Еленой и принуждает его покинуть родину. После нескольких лет скитания по Европе Владимир возвращается в родительский дом, но не застает уже отца в живых, Старик священник передает Владимиру предсмертное письмо отца. Письмо содержит требование окончательно забыть Елену и отказаться от нее. В случае нарушения своей предсмертной воли отец грозит Владимиру загробным проклятием. Владимир потрясен. Он попрежнему любит Елену и после некоторых колебаний решает пренебречь волей отца и скрывает ее от Елены. Наступает день свадьбы.

Стоя под венцом, Борский чувствует себя преступником и ожидает страшного возмездия. Не зная в чем дело, Елена поражена и испугана подавленным состоянием жениха.

Часть II. Подавленное состояние не покидает Борского и после свадьбы. Елена догадывается о какой-то тайне, угнетающей Борского. От расспросов Елены Борский уклоняется. Елена решает, что он любит другую. Желая предоставить Владимиру свободу, Елена объявляет ему о своем намерении уйти в монастырь. Борский подозревает Елену в неверности. Его мучает ревность, он решается разоблачить и наказать Елену. Далее следует печатаемая нами глава, содержащая развязку семейной драмы Борских. Свершив преступление, Борский бежит к священнику и сознается в убийстве. От священника Борский узнает, что Елена была лунатиком. Поняв свою ошибку, Борский в ужасе убегает, завещав священнику похоронить Елену в роще. Зимой около могилы Елены сельчане ежедневно обнаруживают чей-то свежепротоптанный след. Разыгравшаяся однажды сильная вьюга замела могилу Елены и после этого след не возобновлялся. Весной под снегом невдалеке от могилы был найден труп Борского.

Жребий. Напечатано в 1828 г.

В е ч е р. Напечатано в 1828 г.

Н а р а з в а л и н а х Д е с я т и н н о й ц е р к в и в К и е в е. Напечатано в 1828 г. *Десятинная церковь* сооружена в Киеве кн. Владимиром в 989 г. По преданию кн. Владимир отпускал на содержание этой церкви десятую часть своих доходов. Отсюда ее название. В 1240 г. во время разорения Киева татарами Десятинная церковь была тем пунктом обороны, на котором погибли последние защитники Киева.

Ф и р д у с и. Напечатано в 1828 г.

Фирдуси, правильнее Фирдоуси (род. ок. 935, умер ок. 1020 г.) — знаменитый иранский поэт. В течение многих лет пользовался широким покровительством султана-мецената Махмуда — правителя Газны. Ядовитая сатира, написанная Фирдоуси на Махмуда, навлекла на поэта преследование и гонение. Последние годы своей жизни Фирдоуси провел в изгнании.

О т в е т. Напечатано в 1829 г.

В стихотворении можно видеть «ответ» на стихотворение Д. В. Веневитинова «Утешение»:

Блажен кому судьба вложила
В уста высокий дар речей,
Кому она сердца людей
Волшебной силой покорила,

Как Прометей похитил он
Творящий луч, небесный пламень,
И вкруг себя, как Пигмальон,
Одушевляет хладный камень.
Немногие сей дивный дар
В удел счастливый получают...
и т. д.

Стихотворение Веневитинова появилось в печати в 1829 г. через два года после смерти автора. Это обстоятельство очевидно заставило Подолинского опустить в заглавии «Ответа» его адресат. *На мир существенный с презрением глядит как житель неземной.* Существенный — здесь в смысле действительный, обыденный.

Странники. Напечатано в 1829 г.
Возведши взор на Капитолий. Капитолий — храм в древнем Риме, помещавшийся на вершине Капитолийского холма. *И кто б в пришельце не узнал в тот миг творца Ерусалима.* Творец Ерусалима — Торквато Тассо (1544—1595), знаменитый итальянский поэт, автор известнейшей поэмы «Освобожденный Иерусалим». Преследуемый герцогом г. Феррары, Тассо долгие годы скитался по Италии. Перед самой смертью он посетил Рим, где его ждала выхлопотанная друзьями высшая для итальянского поэта награда — увенчание лавровым венком в Капитолии. За несколько дней до этого торжества Тассо умер.

Портрет. Напечатано в 1829 г.

Пророк — Магомет, основатель магометанской религии.

Стихотворение было вписано Подолинским в альбом А. П. Керн. В этот же альбом Пушкин записал свою пародию на «Портрет»:

Когда стройна и светлоока
Передо мной стоит она,
Я мыслю: «В день Ильи-Пророка
Она была разведена».

Природа. Напечатано в 1829 г.

Гурия. Напечатано в 1830 г.

Не точи свой ятаган. Ятаган — изогнутый меч. *Милый друг, там за пророка. Пророк* — см. предыдущее примечание. *Одалиски сердцу милой*. Одалиска — любовница-рабыня магометанина. *Как алоя пар душистый*. Алой — распространенное на Востоке курительное вещество, добываемое из алойного дерева.

Гений. Напечатано в 1830 г.

Девичь-гора. Напечатано в 1832 г.

Как певец вдохновенный в Элладе. Эллада — Греция. *Но крещение принял в Царьграде*. Царьград — древнерусское наименование Константинополя. В X веке Константинополь был главным городом Византийской (греческой) империи, из которой проникло в языческую Русь хри-

стианство. *У ланит, у плечей.* Ланиты (славянское слово) — щеки. *И коснулся он персей девицы.* Перси (славянское слово) — грудь.

Сонет. Напечатано в 1832 г.

Сонет — стихотворение, состоящее из 14 стихов, распадающихся на два четверостишия, с одинаковыми парными рифмами, и на два трехстишия.

Сонет. Напечатано в 1832 г.

Русская песня. Дата первого появления в печати неизвестна. Вошло в собрание сочинений Подолинского 1837 г.

Поэту. Дата первого появления в печати неизвестна. Вошло в собрание сочинений Подолинского 1837 г. *Но если хартию святую бытия.* Хартия — торжественная грамота, устав.

Стих. Напечатано в 1839 г.

Мелодия. Напечатано в 1839 г.

Бальный призрак. Датировано автором 1837 годом. *Мимолетом перси греют.* Перси — см. выше.

Отгрянуло в бездну творящее Слово. Датировано автором 1840 годом.

Отпадший летит Серафим. Серафим у евреев и христиан — высший ангельский чин. Здесь — синоним ангела.

После войны. Датировано автором 1858 годом.

Кулачник — здесь иронически. в смысле «вояка». Буквально — кулачный боец.

Отрывок из сатиры «Багряновидная заря». Стихотворение названо автором сатирической шуткой и датировано февралем 1884 г. В основу ее положена киевская народная легенда о пришествии антихриста. В примечаниях к стихотворению Подолинский писал, что он воспользовался этой легендой «больше для того, чтобы коснуться кое-чего позорного и смешного в нашем общественном строе». В 1884 г. сатира была набрана для журнала «Русская Старина», но в последний момент ее не пропустила цензура. В настоящем издании печатаем начало сатиры. Ее продолжение составляет ироническое изображение революционного движения 70—80-х гг., представленное в виде восстания ада.

Отдай на турнюру и хвост. Турнюр и шлейф — сложные прихотливые детали женских мод 80-х гг.

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИЗДАНИЙ СТИХОТВОРЕНИЙ И. КОЗЛОВА

Чернец. К В.А.Ж. изд. 1825 г. (1-е, 2-е), 3-е — в 1827 г.

Стихотворения Козлова изд. 1833 г. и изд. 1840 г.

Стихотворения Козлова изд. испр. и доп. 1892 г. под ред. Арс. И. Введенского в изд. А. Ф. Маркса.

ВАЖНЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА ОБ И. КОЗЛОВЕ

В. А. Жуковский. О стихотворениях И. И. Козлова (в Собр. соч. Жуковского).

Н. М. Данилов. Иван Иванович Козлов. Отдельный оттиск из Изв. II отд. Ак. Наук, т. XIX, 1914 г., кн. 2.

Дневники Козлова, в «Старине и Новизне», СПб., 1906, кн. XI.

В. Белинский. О собрании стихотворений И. И. Козлова. (Собр. соч. В. Г. Белинского).

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИЗДАНИЙ СОЧИНЕНИЙ А. ПОДОЛИНСКОГО И ЛИТЕРАТУРА ОБ А. ПОДОЛИНСКОМ

Сочинения А. И. Подолинского (изд. Н. Г. Устрялова) в двух частях. СПб., 1860 г.

Андрей Иванович Подолинский. Собр. неизданных его стихотворений 1830—1884 гг. «Русская Старина», 1885, № 1, стр. 73. Там же автобиографическая заметка и портрет Подолинского.

Воспоминания А. И. Подолинского — «Русский Архив», 1872, книга 3—4, столбец 856.

Ф. Витберг. А. И. Подолинский. «Русский биографический словарь», 1905, стр. 201. Очерк жизни и творчества. Там же библиография (с пропусками и ошибками) стихотворений Подолинского, с указанием места и времени появления в печати и библиография литературы о Подолинском.

СОДЕРЖАНИЕ [1]

И. КОЗЛОВ

(Редакция текста и примечания Ц. Вольпе

[1] Первая цифра (прямым шрифтом) обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

А. ПОДОЛИНСКИЙ

(Редакция текста и примечания Е. Купреяновой)

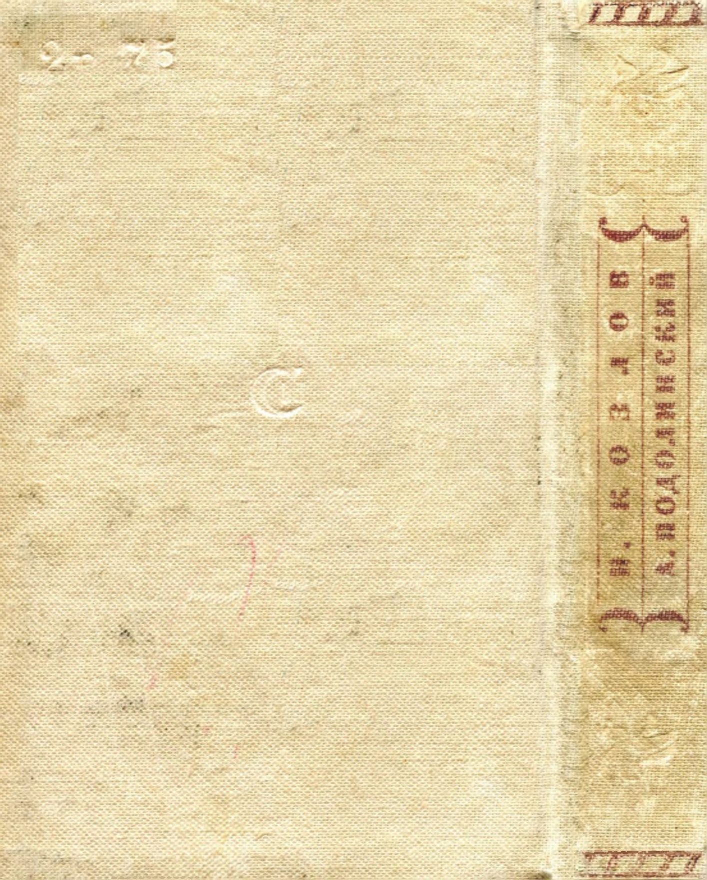
СТИХОТВОРЕНИЯ

Отпечатано с матриц в типографии Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57, в колич. 10 500 экз. Авт. л. 8. Заказ №2806. Ленгорлит № 12902. Сдано в набор 27/III 1936 г. Подписано к печати 15/VI 1936 г. Формат бумаги 70×108 см. Тип. знак. в 1 бум. л. 169000. Бум. л. $2^{1}/_{32}$. С. П. — 15 л. Переплет и титул В. Дворaковского. Ответств. редактор М. И. Аронсон. Технический редактор А. Кирнарская.

1936

[redacted]

1 р. 75 к. Переплет 1 р.


Н. КОЗЛОВ
А. ПОДОЛИНСКИЙ